

НОВИЙ
МІР

11

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДИННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176×250.
Упслн. Главлита Б—20668. Объем 22 печ. л. по 64.000 знак. Сдано в набор 28/IX—37 г.
Подписано к печати 15/X—37 г. Техн. ред. С. Гуревич. Тир. 70.000. Зак. 2471.
Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Красочные вкладки: портрет В. И. ЛЕНИНА
портрет И. В. СТАЛИНА

1. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД 5
 2. МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, роман 17
 3. Т. ШАМШИЕВ. — Товарищ Сталин, стихотворение 81
 4. С. ДИКОВСКИЙ. — Патриоты, повесть 82
 5. ОСИП КОЛЫЧЕВ. — Стихотворения 142
 6. СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ. — Дагестанские рубайи 145
 7. В. ПОЛТОРАЦКИЙ. — Песня 220 полка 166
 8. Н. НЕЗЛОБИН. — Ясный месяц. (Главы из сказки) 168
 9. АЛ. МАЛЫШКИН.—Люди из захолустья, роман, продолжение 175

 10. ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. — Красная площадь (С иллюстр.) : . 223
 11. МАРИЭТТА ШАГИНЯН. — Предки Ленина. (С иллюстр.) . 262
 12. Е. ГЕРАСИМОВ, М. ЭРЛИХ. — Герой украинского народа —
Щорс. (С иллюстр.) 286
 13. ВАНДА РОСОЛОВСКАЯ.—1917 год в документах кино-хроники 300

 14. ЛИТЕРАТОР. — Двадцать лет советской литературы . . . 310
-

Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

Книга четвертая

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА I

Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило: в соответствующий момент, совместно с частями генерала Фицхеллаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами.

План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16.000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой молодой армии, сформированной летом 1918 года из молодых, призывного возраста, казаков.

А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческих дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти непрерывный, ожесточенный огонь; остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа.

Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу: темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона, в глубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон: осколками снаряда было

убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только-что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира.

Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было: резали двух приблудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотне, и Христоня на ловле постоянно ходил «от глубин», выхвываясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив:

— Воняет от тебя, как от дохлого сома! С тобой тут ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать...

С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбы внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червячки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали:

— Окромя тебе места нету? Хотя бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну, отойди, ради Христа, в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбих иакидал, муравьев приманул со всего округа и вонизу распустил, как в Астрахани!

Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил:

— Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натошак, а?

Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил.

Стычки продолжались у них изо дня в день. Но в общем сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова.

Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того, ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу.

Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полости, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку.

При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил:

— Разуши в Вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивел я, рубахи и портки нестиранные, и, к тому же, скажи... — Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку, закончил: — Скажи, что, мол, дуже соскучился и ждет вскорости.

Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размовки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящшей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам притти в Вешенскую, в случае если Аксинья не явится в сотню.

Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через два часа Аксинья — покорная жена — уже ехала с Аникуш-

кой к месту расположения Татарской сотни.

Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись:

— А почему ты пошла на Вешки этой стороной? Почему не переправилась против хутора?

Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И уж после того, как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась от того, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень.

Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя.

Степан, щадя ее, сделал вид, что ничего не заметил, — перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что из имущества успела спрятать перед уходом из дома и надежно ли спрятала.

Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то щемящую внутреннюю неловкость и, чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение, — нарочито замедляла речь, гсворила с деловитой сдержанностью и сухостью.

Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор.

Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближней музге¹.

Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле отягощенные росой травы. В музгах недружно квакали лягушки, и где-то, совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал коростель.

Аксинья прошла мимо куста. Весь он, от самой макушки до сокрытого в густейшей травяной поросли ствола, был оплетен паутиной. Нити паутины, унизанные мельчайшими капелками росы, жемчужно искрились. Коростель на минутку умолк, а потом, еще не успевая выпрямиться примята босыми ногами Аксиньи трава, — снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис.

Аксинья скинула кофточку и стеснявший движения лиф, по колени забрела в парно-теплую воду музги, стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутой в локте полной и смуглой рукой она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размовке, предшествовавшей поездке его в сотню.

«Может, он зараз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу!» — бесповоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение.

И диковинно: последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла себе его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, — а тот, прежний, Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность.

¹ Музга — небольшое озерцо, болотце.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную рубашу мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

— Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!

Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула со влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбкин скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана.

Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку.

Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на постели, молча курил, упорно не отвечая на христонины вопросы.

— Ты думаешь, стало быть, что красивые не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну, и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силиться на бродах перейти... Беспременно на бродах! Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу вплыть пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!

Степан даже привскочил, с сердцем ответил:

— И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет... Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться!

— Нашел, с кем гутарить... — Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирки, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину.

— Не дадут нам поговорить тут, пойдем в лес, — предложил Степан.

И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним.

Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшаника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и приторно вздыхая.

Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но, едва лишь шедший позади Степан поровнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал:

— С праздничком вас... разговемшись!

Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо... Он даже шевельнул молодецки плечами, самодовольно показывая непросохшую от пота рубашу на спине.

И только после этого поощренные казаки, хочоча, оживленно заговорили:

— А и люта же, братцы, баба! На Степке-то рубашу хоть выжми... Прикипела к лопаткам!

— Выездила она его, в мылу весь...

А молоденький паренек, до самой землянки провожавший Аксинью восхищенным, затуманенным взглядом, потерянным зоронил:

— На всем белом свете такой раскрасавицы не найдешь, накажи господь!

На что Аникушка ему резонно заметил:

— А ты пробовал искать-то?

Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, гадливо морщась и от воспоминаний о только-что испытанной близости к мужу, и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще:

— Ты не сердчай, Ксюша, на этих жебцов. От скуки они.

— Не на кого сердчать-то, — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из

нее все, что привезла мужу. И еще тише: — На самую себя сердчать бы надо, да сердца нет...

Разговор у них как-то не клеился. Минут через десять Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в Вешки» — подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее степаново белье.

Долго чинила сопревшие от пота рубахи и исподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце.

... В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А наутро, едва взошло солнце, стала собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал угovarивать, только спросил перед расставанием:

— В Вешках думаешь жить?

— Пока в Вешках.

— Может, оставалась бы при мне?

— Не гоже мне тут быть... с казаками.

— Оно-то так... — согласился Степан, но попрощался холодно.

Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись на луговую пойму левобережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душистой мглой окутал меловые отроги придонских гор.

Аксинья сняла чирики и, захватив левой рукой подол юбки (в лесу на траве еще лежала роса), легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а огленные полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей.

На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко, в непересохшем озере, шелоктали по камышу дикие утки, хрипавато кликал подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно, стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир

открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко невнятно и грустно считала кому-то непрожитые года кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чи вы, чи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной, первородною жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безымянных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо-тенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный глени: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей, пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цве-

ток и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолоду плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вспугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная прижавшимися лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собою людскую речь и конское пыхканье, поспешно привстала.

Около нее стоял, держа в поводу оседланную белоноздрую лошадь, молодой белоусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, приплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой песни:

Я упала да лежу,
На все стороны гляжу.
Туда глядь,
Сюда глядь,
Меня некому поднять!
Оглянулася назад —
Позади стоит казак...

— Я и сама встану! — улыбнулась Аксинья и проворно вскочила, оправляя смятую юбку.

— Здорóво живешь, моя любезная! Ноженьки отказались служить аль приленилась? — приветствовал ее веселый казак.

— Сон сморил, — смущенно отвечала Аксинья.

— В Вешки идешь?

— В Вешки.

— Хочешь, подвезу?

— На чем же это?

— Ты садись верхи, а я пешком. Дело могарычье... — и казачок подмигнул с шутливой многозначительностью.

— Нет уж, езжай с богом, а я и сама дойду.

Но казак обнаружил и опыт в любовных делах, и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он куцей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать.

— Не дури! — крикнула Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу.

— Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать... Всякая тварь паруется... Давай и мы грех помоем?.. — сузив смеющиеся глаза, щечка шею Аксиньи усами, шептал казак.

Выставив руки, беззлобно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака, Аксинья попробовала освободиться, но он держал ее крепко.

— Дурак! Я большая дурной болезнью... Пусти! — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от пристава.

— Это... чья болезнь старше!.. — уже сквозь зубы бормотнул казак и вдруг легко приподнял Аксинью.

В миг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук:

— Я — жена Григория Мелехова! Только подойди, рассукин ты сын!.. Расскажу — так он тебе...

Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую, сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая рукавом защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих ноздрей, он огорченно воскликнул:

— Дура! Ах, дура баба! Чего же ты раньше-то не сказала? Ишь, кровь-то как хлобыщет... Мало мы ее с неприятелем проливаем, а тут ишо свои природные бабы начинают кровь пущать...

Лицо его вмиг стало скучным и неприветливым. Пока он умывался, черпая воду из придорожной лужицы, Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловито поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью.

ГЛАВА II

В эту ночь около хутора Малого Громченка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотях.

Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проводить служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах — самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий визг, мужской хохот и посвист... Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский дыбар самогону.

От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне сажен от Дона.

Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев.

На левой стороне минут пять не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен, потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба, и далеко покатилося прерывистое: «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а!».

Громковская сотня была опрокинута и окончательно уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты.

Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по луку, в направле-

нии Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота первого батальона 3-го полка с двумя ручными пулеметами уже действовала во фланг Базковской сотне повстанцев.

В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натывались в ночной темноте на озера и налитые водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно.

Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета с тем, чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление.

Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелеховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский триста сабель, с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли Татарской и Лебяженской сотням сдерживать напор противника, в случае если он устремится в обход Вешенской с востока; с запада, вниз по течению Дона, направил в помощь Базковской сотне Вешенскую иногороднюю дружину и одну из Чирских пеших сотен; на угрожаемых участках расставил восемь пулеметов, а сам с двумя конными сотнями — часов около двух ночи — разместился на опушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю.

Еще не погасли Стожары, когда Вешенская иногородняя дружина, пробирающаяся по лесу к базковскому колену, столкнулась с отступавшими базковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через

широкое озеро, отделявшее Вешенскую от луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, провали фронт и ведут наступление на Вешенскую...

Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий под'ехал к одной группе, насмешливо спросил:

— Много перетопло, когда плыли через озеро?

Мокрый, на-ходу выжимавший рубаху стрелок смущенно отвечал:

— Шуками плыли! Где уж там утопать...

— Со всеми конфуз бывает, — рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. — А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не скотел, обмотки долго сымать, ну, и поплыл, а обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги... Уж и орал же он! В Елани, небось, слышно было!

Разыскав командира дружины Крамскова, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.

На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул:

— Насилу разыскал вас.

— Ты чего?

— Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам... Кудинов, на словах, велел вам зараз же поспешать туда.

С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через двадцать минут скачки они были уже около озера Голого Ильменя. Влево от них по лугу вроссыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтвики и бывалые казаки пробирались неспеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге; большинство же, руководимое, как видно, одним желанием — поскорее добраться до леса, — не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валило напрямик.

— Догоняй их! Пори плетями!.. — скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам.

Сзади всех, прихрамывая, диковиной, танцующей иноходью трусил Христоня. Накануне на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно надал ходу.

— Куда?! Стой!.. Стой, говорят тебе!.. — тщетно кричал Григорий.

Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп.

Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поровнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота христоиной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей «скидки», сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину.

Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали.

— Пори их!.. Пори!.. — потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий. Конь вертелся под ним, становился вдыбки, никак не хотел итти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. Наскаку он мельком видел остановившегося возле куста, молчаливо улыбавшегося

ся Степана Астахова; видел, как Аникушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным, бабьим голосом визжал:

— Братцы! Спасайся, кто может! Красные!.. Ату их!.. Бери!..

Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, бежавшего неумоимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал:

— Стой, сукин сын!.. Стой, зарублю!..

И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и, когда стал поворачиваться, — характерным, знакомым с детства жестом выказывая высшую степень возбуждения, — пораженный Григорий, еще не видя обличья, угадал отца.

Щеки Пантелея Прокофьевича пердегивали судороги:

— Это родной отец-то—сукин сын? Это отца грозишь срубить?—высоким, срывающимся фальцетом закричал он.

Глаза его дымилась такой знакомой неумной свирепостью, что возмущение Григория разом остыло и он, с силой придержав коня, крикнул:

— Не угадал в спину! Чего орешь, батя?

— Как так, не угадал? Отца и не угадал?!

Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поровнялся с отцом, примиряюще сказал:

— Батя, не сердчай! На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, окромя этого, ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда делась! Как тебя угадать-то?

И опять, как бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелея Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но помирившись, согласился:

— Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменял на шубу, — шубу таскать тяжело, — а хромота... Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь...

— Ну, до смерти ишо далеко. Поворачивай, батя! Патроны-то не раскидал?

— Куда ж поворачивать? — возмутился старик.

Но тут уж Григорий повысил голос; отчеканивая каждое слово, скомандовал:

— Приказываю вернуться! За ослушание командира в боевой обстановке, знаешь, что по уставу полагается?

Сказанное возымело действие: Пантелея Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Порвнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал:

— Вот они какие пошли сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит... в это самое направить... да-а-а... Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать!

Татарцев образумили без осебого труда...

Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие; не слезая с седла, коротко пояснил:

— Красные переправились и силуются занять Вешки. Возле Дона зараз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели ишо раз побегите — прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменников! — Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: — Много у вас в сотне всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки! А ишо казаками клечетесь! Особенно вы, деды, глядите у меня! Взялись воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить! Зараз же, по-взводно, рысью вон к этому рубежу и от кустов — к Дону. Понад Доном — до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!

Татарцы молча выслушали и так же молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на

шибко поскакавшего Григория и спутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал:

— Ну, и геройским сынком сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!

И, польщенный в отцовских чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился:

— И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный бант крестов, это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенкий, а все не такой! Уж дюже смиренный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была! А этот — весь в меня! Ажник превзошел лихостью!

Григорий со своим полувзводом подбирался к Калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корница старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комями жирной земли и крошевом трухлявого дерева.

Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня.

Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед; под Григорием конь тяжело поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться набок. Григорий поспешно соскочил с седла, взяв коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Ложился на траву пороховой дымок; пахло свежевзвращенной землей, щепками, полусгнившим деревом; далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки.

Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый

навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь била его тело, под гнетым подшерстком волнами катились судороги.

— Готов кормилец? — громко спросил подскакавший казак.

Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы: дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина.

Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчики. Чуть вибрировало потертое крыло седла.

Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокою рану, теплую, черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез:

— Стреляй с одной пули! — И передал ему свой маузер.

Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.

С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слонистом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вешенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустия немного с обдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валились расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими очередами заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все ча-

ще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса.

Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на-бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побегу, снова все яростнее стало нарастать хриповатое и страшное «ура-а-а».

Тогда заговорили все казачьи пулеметы, на опушках леса жарко, без-умолку зачастили винтовочные выстрелы... Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из леса, длинными очередями начал бить станковый пулемет Базковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, начали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подошедшей перебежками третьей цепью... Вскоре луг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на-рыси вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам прорвалась только часть красноармейцев. Они доотказа загрузили плоты, отчалили. Остальные бились, вплотную прижатые к Дону.

Григорий спешил свои сотни, приказал коноводам не выезжать из лесу, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтора года красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наславшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направилась к левому берегу, но базковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предreshена. Слабые духом, кинув винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали

залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно: один, в полосатой матросской тельняшке, — как видно, искусный пловец, — вниз головой кинулся с обрывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона.

Прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде; что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать наискось. Вокруг него чмокали пули, но ни одна не тронула счастливец. Там, где было когда-то скотинье стойло, он выбрал из воды, отряхнувшись, неспеша стал взбираться по яру к дворам.

Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно до тех пор, пока не закипела в кожухе вода.

— За мной! — негромко скомандовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку.

Сзади, тяжело дыша, затоптали казаки.

До красноармейцев оставалось не более полусотни сажен. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. На смерть.

Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты.

ГЛАВА III

Поздно ночью Григорий пришел из штаба на квартиру. Прохор Зыков ожидал его у калитки.

— Про Аксинью не слышно? — спросил Григорий с деланным равнодушием в голосе.

— Нет. Запропала где-то, — ответил Прохор, позевывая, и тотчас же со страхом подумал: «Не дай бог, опять заставит ее разыскивать... Вот скочетались черти на мою голову!».

— Принеси умыться. Потный я весь. Ну, живо! — уже раздраженно сказал Григорий.

Прохор сходил в хату за водой, долго лил из кружки в сложенные ковшом ладони Григория. Тот мылся с видимым наслаждением. Снял провонявшую пётом гимнастерку, попросил:

— Слей на спину.

От холодной воды, обжегшей потную спину, ахнул, зафыркал, долго и крепко тер натруженные ремнями плечи и волосатую грудь. Вытираясь чистой попонкой, уже повеселевшим голосом приказал Прохору:

— Коня мне утром приведут — прими его, вычисти, добудь зерна. Меня не буди, пока сам проснусь. Только если из штаба пришлют — разбудишь. Понятно?

Ушел под навес сарая. Лег на повозке и тотчас же окунулся в беспросьпный сон. На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того, как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около семи от полнзвучного орудийного выстрела. Над станицей в голубом и чистом небе кружил матово поблескивающий аэроплан. По нем били с той стороны Дона из орудий и пулеметов.

— А ить могут подшибить его! — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновязи высокого рыжего жеребца. — Гляди, Пантелевич, какого чорта под тебя при-слали!

Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный, спросил:

— Не поглядел я: сколько ему годов? Шестой, должно?

— Шестой.

— Ох, хорош! Ножки под ним точеные и все в чулках. Нарядный конишка... Ну, седлай его, поеду погляжу, кто это прилетел.

— Уж хорош — слов нету. Как-то он будет на побегу. Но по всем приметам должен бы быть дюже резвым, — бормотал Прохор, затягивая подпруги.

Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана.

Выбрав место для посадки, летчик резво пошел на снижение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан.

В конюшне для станичных жеребцов — длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы, — было битком набито более восьмисот пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параш в помещении не было. Тяжкий густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловонные потоки мочи; над ними тучами роились изумрудные мухи...

День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сотни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам.

Григорий, об'ехав конюшню, только что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырос и сомкнулся с тяжким гулом разрыва.

Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия, батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни.

Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать.

— Кати на руках! — зычно скомандовал казакам прилетевший из-за Дона офицер и первый взялся за крыло.

Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубях поднявшейся известняковой пыли обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева охваченных ужасом красноармейцев. В образовав-

шийся пролом выскочило трое пленных, сбжавшиеся казаки изрешетили их выстрелами в упор.

Григорий отскакал в сторону.

— Убьют! Езжай в сосны! — крикнул пробегавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами.

«А и в самом деле могут накинуть. Чем чорт не шутит» — подумал Григорий и неспеша повернул домой.

В этот день Кудинов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станицы Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона; посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону и уже в конце совещания, после того, как был разработан план переправы и движения частей преследования, спросил:

— А почему у вас пленные находятся в Вешенской?

— Больше их негде держать, в хуторах нет помещений, — ответил кто-то из штабных.

Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову, расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал:

— Направьте их в Казанскую.

Кудинов удивленно поднял брови:

— А потом?

— А оттуда — в Вешенскую... — снисходительно пояснил офицер, щуря холодные голубые глаза. И, плотнее сжав губы, жестко закончил: — Я не знаю, господа, почему вы с ними церемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней как физических, так и социальных, надо истребить. Няньчиться с ними нечего! Я на вашем месте поступил бы именно так.

На другой день в пески вывели первую партию пленных в двести человек. Изможденные, иссиня-бледные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли, как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагавшую толпу... На десятиверстном перегоне Вешенская—Дубровка двести человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано: отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из полтораста человек восемнадцать дошли до Казанской... Один из них, молодой цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чеборца. Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные порепавшиеся подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные блестящие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел.

Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и одна величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя:

— Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубите.

Начальник конвоя — бравый рыжеусый подхорунжий — усмехнулся:

— Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получится!

— А ты ослобони, не противься, — настойчиво просила старуха. — Смертью над каждым из вас крылом машет...

Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился:

— Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за нашу доброту — молочка нам неснятого по корчажке на брата.

Старуха увела сумасшедшего к себе в хатенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к

окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на художавое лицо паренька, потом ба-совито сказала:

— Ваши-то, слышать, недалеко...

Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише.

Тогда старуха строго заговорила:

— Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизнь прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом ты здоровый, знаю... Слыхала, как ты во сне гутарил, да таково складно!

Красноармеец пел, но все тише и тише. Старуха продолжала:

— Ты меня не бойсь, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила... Вспоила, вскормила, ночей смолоду не спала... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют... — Она помолчала немного.

Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах, на тонкой, худой шее напряженно запульсировала голубая жила.

С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась:

— Дорогу на Шумилинскую знаешь?

— Нет, бабуня, — чуть шевеля губами, ответил красноармеец.

— А как же ты пойдешь?

— Не знаю...

— То-го и оно! Что же мне с тобой теперича делать? — Старуха долго выжидала ответа, потом спросила:

— А ходить-то ты можешь?

— Пойду как-нибудь.

— Зараз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо иттить ночью и шагать пошибче, ох, пошибче! Передной ишо, а тогда дам я тебе харчей и в поводыри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и — в час добрый! Ваши-то, красные, за

Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя иттить, надо — степью, логами да лесами, бездорожно, а то казаки перевстренут и беды наберетесь. Так-то, касатик мой!

На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала:

— Идите с богом. Да глядите, нашим служивым не попадайтесь!.. Не за что, касатик, не за что! Не мне кланяться — богу святому! Я не одна такая-то, все мы матери добрые... Жалко ить вас, окаянных, до смерти! Ну, ну, ступайте, оборони вас господь! — И захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хатенки.

ГЛАВА IV

Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам.

Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день троицы она впервые встала с постели, прошла по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежку.

И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка, на ввалившихся щеках розовел румянец, а ставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей, трепетной теплотой, как будто после родов.

— Полюшка, расхороша моя! Не забивал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, глядя рукою черноволосяную головку дочери.

— Нет, маманя! Мишка толечко раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались, — шопотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям.

— А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья.

— Дюже жалела!

— А чужие люди, красные солдаты вас не трогали?

— Они у нас телушку зарезали, проклятые! — баском ответил разительно похожий на отца Мишатка.

— Ругаться нельзя, Мишенька. Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черным словом обзывать! — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку.

— Это бабка их так обзывала, спроси хоть у Польки, — угрюмо оправдывался маленький Мелехов.

— Верно, маманя, и курей они у нас всех дочиста порезали!

Полюшка оживилась: блестя черными глазами, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни! Хоть не проси, сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим».

И Полюшка развела руками, показывая:

— Во какие валенки оставил! Большущие-разбольшущие и все на дырках!

Наталья, смеясь и плача, ласкала детские и, не своя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала:

— Ах ты, моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты, до капельки, на своего батю похожа.

— А я похож? — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери.

— И ты похож. Гляди только: когда вырастешь — не будь таким непутевым, как твой батя...

— А он непутевый? А чем он непутевый? — заинтересовалась Полюшка.

На лице Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи.

Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский

говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой вылинявшей кофточки...

На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, — умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и по тому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, — Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки.

— Куда это собралась? — нарочно спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений.

— Пойду дедушку проведаю, — не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья.

Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье.

— Слабая ты, не дойдешь.

— С передышками дотяну. Детей покормите, мамаша, а то я там, может, долго задержусь.

— И кто его знает — чего ты там будешь задерживаться! Ишо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Натальюшка!

— Нет, я уж пойду. — Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку.

— Ну, погоди, чего ж ты голодная-то пойдешь? Сем-ка я молочка кислого положу?

— Нет, мамаша, спаси Христос, не хочу... Прийду, тогда поем.

Видя, что сноха твердо решила итти, Ильинична посоветовала:

— Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет.

Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветром.

Перешагнув через поваленный, опутанный повилкой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли.

Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старой, засохшей после пожара яблоне одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями сохшейся глины уже показались зеленые жалыца выметавшейся травы.

Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустила на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнущей смертным гленом земле...

Через час она, крадучись, вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность, — пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента, — и тихо пошла по проулку.

С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре стала помогать свекрови в стряпне. Возясь у печи, они подолгу разговаривали.

Однажды утром Наталья с сердцем сказала:

— И когда же это кончится? Вся душа изболелась!

— Вот поглядишь, скоро переправятся наши из-за Дона, — уверенно отозвалась Ильинична.

— А почему вы знаете, мамаша?

— У меня сердце чует.

— Лишь бы наши казаки были целые. Не дай бог — убьют кого или поранят. Гриша, ить он отчаянный, — вздохнула Наталья.

— Небось, ничего им не делается, бог не без милости. Старик-то наш судился опять переправиться, проведать нас, да, должно, напужался. Кабы приехал — и ты бы с ним переправилась к своим от греха. Наши-то, хуторные, супротив хутора лежат, обороняются. Надьсь, когда ты ишо лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу — из-за Дона Аникушка шумит: «Здорово, бабушка! Поклон от старика!».

— А Гриша где? — осторожно спросила Наталья.

— Он ими всеми командует издаля, — простодушно отвечала Ильинична.

— Откуда ж он командует?

— Должно, из Вешек. Больше неоткуда.

Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила:

— Да ты чего это? Чего кричишь-то?

Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала.

— Не кричи, Натальюшка, слезой тут не поможешь. Бог даст — живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись, зря не выходи на баз, а то увидят эти анчихристы, воззрятее...

В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонила чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула:

— Они! Красные! Натальюшка! Скорей ложись на кровать, прикинься, будто ты хвораешь... Как бы греха... Вот дерюжкой укройся!

Только-что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щекотка и в стряпку, пригинаясь, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та, как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчажку с теплым молоком.

Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал:

— Не пугайтесь. Не с'ем. Здравствуйте!

Наталья, притворно стоня, с головой укрылась дерюгой, а Мишатка исподлобья всмотрелся в гостя и обрадованно доложил:

— Бабуня! Вот этот самый и зарезал нашего хочета! Помнишь?

Красноармеец снял защитного цвета фуражку, поцокал языком, улыбнулся:

— Угадал шельмец! И охота тебе про этого петуха вспоминать? Однако, хозяйюшка, вот какое дело: не можешь ли ты выпечь нам хлеба? Мука у нас есть.

— Можно... Что ж... Испеку... — торпливо заговорила Ильинична, не гля-

дя на гостя, стирая с лавки пролитое молоко.

А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор:

— К ночи выпечешь?

— Можно и к ночи, ежели вам спешно.

— На войне, бабушка, завсегда спешно. А за петушка вы не обижайтесь.

— Да мы ничего! — испугалась Ильинична. — Это дите глупое... Вспомнит же что не надо!

— Однако скупой ты, паренек... — добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке. — Ну чего ты таким волчком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха.

— Подойди, болезный! — шопотом присла Ильинична, толкая коленом внука.

Но тот оторвался от бабушкиного подола и норовил уж выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец притянул его к себе, спросил:

— Сердишься, что ли?

— Нет, — шопотком отозвался Мишатка.

— Ну, вот и хорошо. Не в петухе счастье. Отец-то твой где? За Доном?

— За Доном.

— Воюет, значит, с нами?

Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил:

— Он всеми казаками командует!

— Ох, врешь, малый!

— Спроси вот хучь у бабки.

А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внука.

— Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец.

— А может, и не всеми... — уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки.

Красноармеец помолчал немного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил:

— Молодайка болеет, что ли?

— Тиф у нее, — неохотно ответила Ильинична.

Двое красноармейцев внесли в кухню

мешок с мукой, поставили его около порога.

— Затопляй, хозяйка, печь! — сказал один из них. — К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы припек был настоящий, а то худо тебе будет!

— Как умею, так и испеку, — ответила Ильинична, донельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие помешали продолжению опасного разговора и Мишатка выбежал из кухни.

Один спросил, кивком головы указывая на Наталью:

— Тифозная?

— Да.

— Ну, счастье ее! Была бы здорова, мы бы ее распатронули... — И, улыбаясь, вышел из кухни.

Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол — из-за Дона защелкали винтовочные выстрелы.

Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огороже, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться.

Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули:

— Эй, бабка! Иди в дом! Убьют!

— Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький! — со слезами в голосе звала старуха.

Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за Дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба снова возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули мелеховский двор.

Ильинична, шопотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось.

К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы.

Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к Гетманскому шляху.

Великая тишина как-то сразу распротерлась надо всем Обдольем. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравившим летникам, от хуторов к Гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батареи; колоннами пошла пехота и конница.

Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась:

— Привел-то господь, Натальюшка! Уходят красные!

— Ох, маманя, это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся.

— А чего же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!.. — ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто.

Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бурые отроги.

Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. Жарко калило землю полуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий, грустноватый их по-свист странно сочетался с жизнерадостным пением жаворонков. Так мила сердцу Натальи была установившаяся после орудийного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бесхитростные песни жаворонков, и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра.

Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя: тянуло пресной влагой от Дона, почти касаясь земли раздвоенными острями крыл, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесьи парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик.

Наталья прошла по двору. За каменной огорожей на помятой траве лежа-

ли золотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробоинами. Одна из уцелевших кур, завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара.

Ласковая тишина недолго стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в покинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад.

Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте — окутанные сиреневой дымкой пыли — на-рысах шли двуколки, скакали одиночные всадники. «Значит, верно, уходят!» — облегченно решила Наталья.

Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисто и немно загремели орудийные выстрелы, и, точно переключаясь с ними, поплыл над Доном радостный колокольный трезвон двух вешенских церквей.

На той стороне Дона из леса густо высыпали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору.

— Натальюшка! Родимая моя! Наши едут!.. — плача навзрыд, причитала выскочившая из кухни Ильинична.

Наталья схватила на руки Мишатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестели, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила:

— Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки вострые... Может, и твой отец с казаками... Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке? Ох, да не туда ты глядишь!..

На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, имение, хлеб, всплакнул, обнимая внучат. А когда, спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье, — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей, выжженной земли свою седую голову.

ГЛАВА V

Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при 6 конорудиях и 18 вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской.

Ранним утром третьего дня офицерский раз'езд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший раз'ездом казачий есаул по одежде угадал повстанцев, помахал нацепленным на шапку носовым платком и зычно крикнул:

— Свои!.. Не бегай, станичники!..

Раз'езд без опаски подскочил к отложине яра. Начальник повстанческого караула — старый седой вахмистр, — на ходу застегивая заклоустанную по росе шинель, вышел вперед. Восемь офицеров спешили, и есаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю — поцелуемся. — Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил:

— Ну, как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?

— Так точно, ваше благородие! Покрыли грех... Три месяца сражались, не чаяли дожидаться вас!

— Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум. Дело прошлое, а кто старое вспоманет — тому глаз вон. Какой станицы?

— Казанской, ваше благородие!

— Ваша часть за Доном?

— Так точно!

— Красные куда направились от Дона?

— Вверх по Дону, должно, — на Донецкую слободку.

— Конница ваша еще не переправлялась?

— Никак нет.

— Почему?

— Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону.

— Артиллерия была у них тут?

— Две батареи были.

— Когда они снялись?

— Вчера на ночь.

— Преследовать надо было! Эх, вы, раззявы! — укоризненно проговорил есаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту.

Вахмистр стоял на-вытяжку, руки по швам. В двух шагах сзади него толпились казаки, со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей.

Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживая возле лошадей, искоса поглядывали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и не русского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских, без каблучков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил:

— Курите, братцы!

Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры.

— Ну, как жилось под большевиками? — спросил большеголовый и широкоплечий хорунжий.

— Не дюже сладко... — сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких зашнурованных по колено гетр, туго обтягивавших толстые икры хорунжего.

На ногах казака еле держались стоптанные рваные чирики. Белье многократно штопаные шерстяные чулки, с заправленными в них шароварами, были изорваны; потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиной неизносных подошв, ярко блестящими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение:

— А и хороша же у вас обувка!

Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал:

— Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти, так теперь нечего на чужое завидовать!

— Промашка вышла. Обвиноватились... — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки.

Хорунжий продолжал издевательски отчитывать:

— Ум у вас оказался бычийный. Бык, он ведь всегда так: сначала шагнет, а потом стоит думает. Промашка вышла! А осенью, когда фронт открыли, о чем думали? Комиссарами хотели быть! Эх, вы, защитники отечества!..

Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся хорунжему: «Оставь, будет тебе!». И тот затоптал папироску, сплюнул, развалисто пошел к лошадям.

Есаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса.

С неожиданной легкостью тяжеловатый хорунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад.

Казаки смущенно молчали. Подошедший есаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил:

— Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?

— Тридцать пять, — в несколько голосов ответили казаки.

— Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер, он поведет конницу. А пе-

хота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с богом шагом арш!

Казаки толпою пошли под гору. Сажен сто шагали и молчали, как по стовору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно вздохнул:

— Вот и соединились, братушки...

Другой с живостью добавил:

— А хрен редкьи не слаже! — И смачно выругался.

ГЛАВА VI

Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разезды и двинулся на юг.

За обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали сливавшиеся раскаты орудийных выстрелов.

— Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют! Беглым огнем содят! — восхищенно сказал один из командиров, подезжая к Григорию.

Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арб. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей.

— Вот так находзявали! — воскликнул потрясенный Григорий, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно обехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровавленном зипуне.

— Докараулил дедок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться, — с сожалением сказал кто-то из казаков.

— Небось, пашаницу жалко было бросать...

— А ну, трогай рысью! Воняет от него — не дай бог. Эй! Трогай!.. — возмущенно закричали из задних рядов.

И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу.

... Бой шел неподалеку от имения Листницких. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава калмыцкого полка.

Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейских роты, прикрывавших отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й Мироновской дивизии, были разбиты 3-м калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал:

— Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу.

— Что за нужда? — удивился Ермаков.

— Ну, как тебе сказать, жил тут в работниках смолоду, вот и потянуло что-то, поглядеть на старые места...

Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда отъехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвилось и запылало на ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков.

«Будто в плен сдаются!» — с тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленым на-рысях идет конная группа секретевцев.

Грустью и запустением пахло на Григория, когда через поваленные ворота в'ехал он на заросший лебедью двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно некрашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым духом нежили.

Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом гредюймовки. В разбитое венецианское окно коридора «просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груду кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу.

Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полу-сгнившей соломы.

На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий под'ехал к распахнутому окну флигеля; перегнувшись с сидла, громко спросил:

— Есть кто живой?

Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил:

— Погодите, ради Христа! Сейчас выйду.

Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо; щурясь ст солнца, долго всматривалась в Григория.

— Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь, спросил Григорий.

И только тогда что-то дрогнуло в рязом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проорить ни одного слова.

Григорий привязал коня, терпеливо выжидал.

— Натерпелась я страсти... Не дай и не приведи... — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. — Думала, опять они приехали... Ох, Гришенька, что тут было... И не расскажешь!.. Одна ить я осталась...

— А дед Сашка где же? Отступил?

— Кабы отступил, может, и живой бы был...

— Неужли помер?

— Убили его... Третьи сутки лежит на погребу... зарыть бы надо, а я сама расхворалась... Насилу встала... Да и боюсь до смерти иттить туда к нему, к мертвому...

— За что же? — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий.

— За кобылу порешили... Наши-то паны отступили поспешно. Один капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили. — Лукерья перешла на шопот: — Все до нитки соблюла! Зарытое и до се лежит. А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началась востания, брали их и казаки, и красные. Вороного жеребца «Вихорь» — может, помнишь? — взяли на провесне красные. Насилу заседлали. Он ить под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поездить, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Сошлись они на бугре с красными, зачали палить один в одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж не притянул «Вихорь» красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле, и не мог его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладает с жеребцом, и захотел на всем скаку ссигнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу

из стремени не вытянул. «Вихорь» его и примчал прямо к казакам в руки.

— Ловко! — воскликнул восхищенный Прохор.

— Теперь на этом жеребце каргиновский подфорунжий ездит, — размеренно повествовала Лукерья. — Сулил, как только пан вернется, — сейчас же «Вихорь» на конюшню представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка «Стрелка», что от «Примера» и «Суженой». Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел — и рассказать нельзя! На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда... Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они кричат ему: «Иди сюда, такой-сякой!». Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?». Он и говорит: «Одна есть, но она по вашему военному делу негодная: кобыла, к тому же подсосая, с жеребенком». Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума дело! Веди кобылу, старый чорт! У моей лошади спина побитая, и должен я ее сменить!». Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был... Пану — и тому, бывало, не смолчит. Помнишь, небось?

— Что же он, так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор.

— Ну, как же тут не дашь? Он только и сказал им: «До вас, мол, сколько ни прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой, из-за ее дитя, жалость имели, а вы что ж, аль не люди?». Тут они и поднялись. Ну, и потянули его... Я так и залилась слезьми... Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело?

— Дай две лопаты и рядно, — попросил Григорий.

— Думаешь похоронять его? — спросил Прохор.

— Да.

— И охота тебе утруждаться, Григорий Пантелевич! Давай я зараз смогаюсь за казаками. Они и гроб сделают, и могилку ему выроют подходящую...

Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение:

— Сами и могилу выроем, и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад, возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника.

Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксины, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый, пахнущий хмелинами дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно притоптанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком.

Удрученный воспоминаниями, Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, плыли осиянные солнцем холодные облака, а на земле, только-что принявшей веселого лошадирика и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь: в степи, зеленым разливом подступившей к самому саду, в зарослях дикой конопки возле прясел старого гумна, неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела облаканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки, и, утверждая в природе человеческое величие, где-то далеко-далеко по суходолу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.

ГЛАВА VII

Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и с

сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквах весь день трезвонили, как на пасху. По улицам раз езжали на поджарых, истощенных переходом дончакх низовские казаки. На плечах у них вызывающе синели погоны. На площади, около купеческого дома, где отвели квартиру генералу Секретеву, толпились ординарцы. Луша семечки, они заговаривали с проходившими мимо принаряженными станичными девками.

В полдень к генеральской квартире трое конных калмыков пригнали человек пятнадцать пленных красноармейцев. Сзади шла пароконная подвода, заваленная духовыми инструментами. Красноармейцы были одеты необычно: в серые суконные брюки и такие же куртки с красным кантом на обшлагах рукавов. Пожилой калмык под'ехал к ординарцам, праздно стоявшим у ворот, спешился, сунул в карман глиняную трубочку:

— Наши красных трубачей пригнала. Понимаешь?

— Чего ж тут понимать-то? — лениво отозвался толстомордый ординарец, сплевывая подсолнечную лузгу на запыленные сапоги калмыка.

— Чего ничего, — прими пленных. Наел жирный морда, болтай зря чего!

— Но-но! Ты у меня поговоришь, курюк бараний! — обиделся ординарец. Но доложить о пленных пошел.

Из ворот вышел дебелый есаул в коричневом туго затянутом в талии бешмете. Раскорячив толстые ноги, картинно подбоченясь, оглядел столпившихся красноармейцев, пробасил:

— Комиссаров музыкой ус-слаж-дали, рвань тамбовская! Откуда серые мундиры? С немцев поснимали, что ли?

— Никак нет, — часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец. И скороговоркой пояснил: — Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошили эту форму, перед июньским наступлением... Так вот и носим с той поры...

— Поносишь у меня! Поносишь! Вы у меня поносите! — Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый незарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку. — Чего ты их гнал, некрещеная харя? За каким чортом? Не мог по дороге на распыл пустить?

Калмык весь как-то незаметно подобрался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил:

— Командир сотни приказала гони сюда надо.

— «Гони сюда надо!» — передразнил франтоватый есаул, презрительно скривив тонкие губы, и, грузно ступая стечными ногами, подрагивая толстым задом, обошел красноармейцев: долго и внимательно, как барышник — лошадей, осматривал их.

Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили всегдашнюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспорядочно наваленными инструментами остановились у крыльца.

— Кто капельмейстер? — закуривая, спросил есаул.

— Нет его, — ответили сразу несколько голосов.

— Где же он? Сбежал?

— Нет, убит.

— Туда и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, царя храни».

Музыканты молча переглянулись. Никто не начинал. С минуты длилось тягостное молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закрученных обмотках, глядя в землю, сказал:

— Из нас никто не знает старого гимна...

— Никто? Интересно... Эй, там! Полувзвод ординарцев с винтовками!

Есаул отбивал носком сапога неслышный такт. В коридоре, гремя карабинами, строились ординарцы. За палисадником в густо разросшихся акациях чирикали воробьи. Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и человеческим едким потом. Есаул отошел с солнцепека в тень, и тогда босой музыкант с тоскою глянул на товарищей, негромко сказал:

— Ваше высокоблагородие! У нас все тут — молодые музыканты. Старое не приходилось играть... Революционные марши все больше играли... Ваше высокоблагородие!

Есаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал.

Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказания. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой с бельмом на глазу музыкант; покашливая, спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить. — И, не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фагот.

Гнусавые, тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили есаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как нищего за.... тянешь! Разве это музыка?

В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов.

— Вы им похоронный марш закажите! — юношеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молодой солдат.

Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и есаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил:

— «Интернационал», надеюсь, исполняете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давайте, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зовя на бой, вдруг со-

гласно и величаво загремели грубые негодующие звуки «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги. Стоял и слушал. Мускулистая шея его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью.

— От-ста-вить!.. — не выдержав, яростно заорал он.

Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала, и надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный незаконченный призыв.

Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбежала по запыленной щеке, оставив влажный след...

Тем временем генерал Секретев обедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, поддерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как уговорили его, повели на квартиру.

Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, вполголоса переговаривались:

— Эк его, болезного, развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не глядит.

— Хлебать бы надо не всю, какую становили...

— Эх, сваток, не всякий вытерпит! Иной в пьяном виде сраму наберется и зарекается сроду не пить... Да ить оно как говорится: зарекался свинья чегой-то есть, бежит, а их два лежит...

— То-то и оно! Шумни ребятишкам,

чтобы отошли. Идут рядом, вылупились на него враженьяты, как, скажи, сроду они пьяных не видали.

... Трезвонили и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет.

Высокий, статный Секретев — исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы — был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцев.

Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон; говорил, с излишней твердостью произнося каждую фразу:

— ... Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас. Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее, и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пустили на казачью землю большевиков... Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось! И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь. Попросту — спасая свои и бычьи шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами... Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Понятно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением Тихому Дону, понятно?

— Ну, за искупление! — ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый. У него — мужественное, слегка тронутое оспой лицо и насмешливые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был на «ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он один из присутствовавших на банкете носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то идейный. Должно, из добровольцев» — подумал Григорий. Пил войсковой старшина, как лошадь. Не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпускал широкий английский ремень.

— Кто это, насупотив меня, рябоватый такой? — шопотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева.

— А чорт его знает! — отмахнулся подвыпивший Богатырев.

Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица, что-то шепнул.

— К чорту! — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым.

— А это кто с косыми глазами? Ад'ютант? — спросил Григорий у Богатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:

— Нет, это его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Манчжурии мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой, чорт! Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат! Повезло же проклятому! Чи-

стый клад! Да пей ты, чего ты их разглядываешь?

Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Попойка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Голо выбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам доверяем, но постольку — поскольку... Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным...

«Ну, и мы вам послужим постольку-поскольку!» — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением, всей грудью вдохнул свежий ночной воздух.

У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо переликались кулики. Где-то далеко в заимье залиристо и тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам были не нужны. Сволочь проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю пряник начнет на глотку наступать... Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь — везде клин. А ить я так и думал... Так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят! Отвыкли козырять да тянуться перед их благородиями» — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт подействовал и на него: кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, — волоча ноги, пошел по улице.

Около домика аксиньиной тетки на минуту остановился в раздумьи, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сени была не залерта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо пе-

ред собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась аксинья тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона, в тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только-что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить, но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене.

Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его по-волчьи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипавато проговорить:

— Здорово дневали!

— Слава богу, — испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношениях Григория с ее племянницей и не ожидавшая от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго.

Степан молча гладил левой рукою усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория.

А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбался, говорил:

— Вот, зашел проведать... Извиняйте.

Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория:

— Проходите, садитесь.

Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объяснило Степану все. И Григорий пошел напролом:

— А где же жена?

— А ты... ее пришел проведать? — тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами.

— Ее, — со вздохом признался Григорий.

Он ждал в этот миг от Степана всего и, трезвея, готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза (в них уже погас недавний огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз придет. Садись, подожди.

Он даже встал — высокий и ладный — и подвинул Григорию стул; не глядя на хозяйку, попросил:

— Тетка, дайте чистый стакан. — И — Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно.

— Ну, садись.

Григорий присел к столу... Оставшееся в бутылке Степан разлил поровну в стаканы, поднял на Григория задернутые какой-то дымкой глаза:

— За все хорошее!

— Будем здоровы!

Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяйка, проворная, как мышь, подала гостю тарелку и вилку с выщербленным черенком:

— Кушайте рыбку! Это малосольная.

— Благодарствую.

— А вы кладите на тарелку, угощайтесь! — потчевала повеселевшая хозяйка. Она была донельзя довольна тем, что все обошлось так по-хорошему; без драки, без битвы посуды, без огласки. Суливший недоброе разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружкой жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.

— Ты почему не в сотне? — обгладывая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел, — помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.

— Сотня дома, небось?

— Все в хуторе гостюют. Что ж, дольем?

— Давай.

— Будем здоровы!

— За все доброе!

В сенцах звякнула щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул исподлобья на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закутанная в ковровый платок, не угадывая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она насилу выговорила:

— Здравствуйте, Григорий Пантелевич!

Лежавшие на столе большие, узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол две бутылки с самогоном, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясуцимся руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил до полна стаканы, повернулся лицом к жене:

— Возьми стакан и садись к столу.

— Я не хочу.

— Садись!

— Я же не пью ее, Степа!

— Сколько разов говорить? — Голос Степана дрогнул.

— Садись, соседка! — Григорий ободряюще улыбнулся. Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — Хозяйка огорченно всплеснула руками.

Аксинья молча собирала осколки.

Степан налил и ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью.

— Ну, выпьем... — начал он и умолк.

В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевшая к столу Аксинья.

— ... Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь?

— Ты же знаешь...

— Я зараз все знаю... Ну, не за разлуку! За здоровье дорогого гостя Григория Пантелевича.

— За его здоровье выпью! — звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом.

— Победная твоя головушка! — прошептала хозяйка, выбежав на кухню.

Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел... Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные

светом мухи да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станции пелухи.

ГЛАВА VIII

Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана.

Проход проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры:

— Наш-то не пришел?

— Нету. Гуляет с генералами.

— То-то там, небось, водки попьют! — завистливо вздохнул Проход и, позевывая, стал одеваться.

— Ты куда это?

— Пойду коней напою да зерна насыплю. Говорил Пантелевич, что с рассветом выедем в Татарский. Переднеем там, а потом свои частя надо догонять.

— До рассвета ишо далеко. Позаревал бы.

Проход с неудовольствием ответил:

— Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На художонке разве расскачешься! Чем ни добрее под тобсю животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне догонять их нету надобностей, а коли туго придется, подопрет к кутнице — так я первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело! Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой дурак, мне это без надобностей. Ну, никак, несут его черти, и, небось, пьяный в дымину.

В дверь тихонько постучали.

— Взойдите! — крикнул Проход.

Вошел незнакомый казак с погонами

младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой.

— Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова? — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога.

— Нету его, — ответил пораженный выправкой и обращением вышколенного ординарца Прохор. — Да ты не тянись, я сам смолоду был такой дурак, как ты. Я его вестовой. А по какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ишо с вечера.

— Был, а потом ушел оттуда домой.

Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровати хозяину:

— Понял, дед? Зафитилил, значит, к своей жалечке... Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького!

Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к аксиньиной тетке.

В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона, в лесу, наперебой высвистывали соловьи. Не торопясь, подошел Прохор к знакомой хатенке, вошел в сени и, только-что взялся за дверную скобу, — услышал басистый степанов голос. «Вот это я нарвался! — подумал Прохор. — Спросит, зачем пришел? А мне и сказануть нечего. Ну, была, не была, — повидалась! Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом».

И, уже осмелев, вошел в горницу, — пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за одним столом с Астаховыми сидел Григорий и — как ни в чем не бывало — тянул из стакана мутно-зеленый самогон.

Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал?

— Вроде этого... — переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор.

— Ну, не пужайся, проходи, садись, — пригласил Степан.

— Мне садиться время не указывает... Я за тобой, Григорий Пантелевич. Приказано к генералу Секретеву явиться зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал рюмку, вставал и тотчас же снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И, трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она выпила за его — Григория — здоровье. Но он ошибся: Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и после недолгого молчания, с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец жена! Люблю за смелость!».

Потом вошел Прохор.

Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться.

— Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору.

— Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелевич, сходить туда.

— Не твое дело! Ступай.

Прохор пошел было к дверям. Но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время... Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассветет, а нам с Степой на зорьке надо домой иттить... Да и выпили вы достаточно. Хватит!

Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан держал руку Григория в своей холодной

и жесткой руке, словно бы хотел напоследок что-то сказать, — но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, неспеша потянулся к недопитой бутылке...

Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора:

— Иди, седлай коней и под'езжай сюда. Не дойду я...

— Не доложить об том, что едешь-то?

— Нет.

— Ну, погоди, я — живой ногой!

И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: «Ну, что ж, теперь он знает... Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал.

Вскоре под'ехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью.

С рассветом в'ехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, — торопясь и волнуясь, пошел к дому.

Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и по тому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет.

Он вошел в дом, переселовал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополучно? — спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок, страху повидали, а так чтобы даже забивать — этого не было, — торопливо ответила Ильинична и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнула ей: — Радо-

ваться надо, а ты кричишь, дура! Ну, не стой же без дела! Неси дров, печь затоплять...

Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил:

— Ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет... Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях?

— Было дело. Только пока неизвестно: на радостях или при горести..

— Как так? — несказанно удивился старик.

— Да уж дюже Секретев злует на нас.

— Ну, это не беда. Неужли и он выпивал с тобой?

— Ну да.

— Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улынулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга.

Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его.

И он не замедлил высказаться:

— Как же, Гришенька, теперича быть? Неужли опять придется служить?

— Ты про кого это?

— Про стариков. К примеру, хоть меня взять.

— Пока неизвестно.

— Стало быть, надо выступать?

— Ты можешь остаться.

— Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не гребни ногами по хате! Возрадовался, забегал, как худой щенок! — строго прикрикнула Ильинична.

Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от

стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение:

— А ты можешь дать освобождение?

— Конечно, могу.

— Бумажку напишешь?

— А то как же!

Старик замялся в нерешительности, но все же спросил:

— Бумажка-то, как она... Без печати-то? Али, может, и печать при тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего! — снова повеселел старик. — Дай бог тебе здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Частя твои пошли вперед? На Усть-Медведицу?

— Да. А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно вскорости таких, как ты, стариков, будут спущать по домам. Вы свое уж отслужили.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.

Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое их щебетанье.

Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его — как крохотные степные птицы. Какими немелыми казались большие, черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции...

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раз а три, он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный

бьется колокольчик... Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна...

Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы и, когда он, шутливым жестом разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная.

— Цветешь? — спросил Григорий.

— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться.

Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности.

Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.

— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк.

Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:

— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать... Только вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Ежели услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, — на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь — так и раздеру, как лягушонка! Поняла?

Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, — сквозь слезы посмотрела на Григория.

Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных под усами зубах, в сужен-

ных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское, звероватое.

Но и Дуняшка была этой породы: оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала:

— Вы, братушка, знаете? — сердцу не прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слушаться не будет, — холодно посоветовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гугарить...» — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи...

— Батенка! Вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным видом прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу:

— ...Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей...

— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, попрежнему глядя на свекора невинными глазами.

Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на выгащенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать — так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Полхутора спалил, немощных стариков расстреливал — да ништо ж это человек? Да чтобы такой христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам! Только пикни ишо: возьму шелужину, так я тебе...

— Их, шелужинов-то, на базу днем с огнем не сыщешь, — со вздохом ска-

зала Ильинична. — По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку, и то не найдешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз.

Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялся все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но, как только по крыльцу затоптал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех на вас, на проклятых, языкастых, хватит! Ведьмы длиннохвостые!.. Шелужины нету?! А это что? И тебе, старая чертовка, достанется! Вы ее у меня отпробуете!..

Жердь не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугунок, с грохотом бросил ее в сенцы, — тяжело дыша, присел к столу.

Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, господи, господи! Грехи наши тяжкие!». Одной Дуняшке было не до смеха, да Наталья, в отсутствие старика улыбающаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна.

— Соли подай! Хлеба! — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.

Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и, по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, — дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал:

— Развевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..

— Это ты меня... то-есть деда... так?
— Тебя! — мужественно подтвердил Мишатка.

— Да нешто родного деда можно... такими словами?!

— А ты чего шумишь?

— Каков вражененок? — поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами. — А это все от тебя, старая карга, таких слов наслухался! Ты научаешь!

— И кто его научает? Весь в тебя да в папаню необузданный! — сердито оправдывалась Ильинична.

Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая:

— Не учишь так гутарить с дедом! Не учишь!

Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:

— Гришка! Сынок! Фитинѳв твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш! Мелеховских кровей!.. Вот она, когда кровь сказалась-то!.. Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого дурака чем хошь!.. Тягай его за бороду!.. — И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой.

Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:

— Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ить у нас — гость, да делать нечего... Пособи плетни поставить, гумне загородить, а то скрозь все повалено, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.

Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу.

Врывая стоянки на огороде, старик спросил:

— Покос начнется, что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как скажешь в счет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красные опять припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на выделку?

— Не знаю, батя, — откровенно сознался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нынешним временам все это ни к чему. Вон возьми тещя: всю жизнь хрип гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!

— Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик.

И разговора о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приключивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:

— Делай абы как. Чего ты стараешься? Не век же им стоять!

Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому...

Пред закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.

Григорий сел на сундук, сказал:

— Присядь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.

Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал:

— А ты гладкая, как будто и не хворала..

— Поправилась... Мы, бабы, живущие, как кошки, — сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову.

Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил:

— Лезут волосы?

— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.

— Давай я тебе голову побрею сейчас? — предложил вдруг Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнула она. — На что же я буду тогда похожа?

— Надо побриться, а то волосы не будут расти.

— Мамаля сулила остричь меня ножницами, — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок.

Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразна стала ее голова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам.

Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старая меньше дает молока...».

С попаса возвращался табун. Мычали коровы, шелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хрипло и прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгрудок его и литая, покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой; на-ходу поддев на свои короткие, широко расставленные рога астаховский плетень,

опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала:

— А бугай тоже отступал за Дон. Мамаля рассказывала: как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон, в луке и спасался все время.

Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна... Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил:

— С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а?

И ждал слез, упреков... Но Наталья испуганно ответила:

— Нет, нет, тебе так показалось, я ничего... Правда, я ишо не совсем поздоровела. Голова кружится, и, ежели нагнусь или подыму что, — в глазах темнеет.

Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил:

— Без меня тут тебя ничего?.. Не трогали?

— Нет, что ты! Я же все время лежала хворая. — И глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — Рано завтра тронешься?

— С рассветом.

— А передневать нельзя? — в голове Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда.

Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала:

— Зараз тебе как... погоны надо надевать?

— Придется.

— Ну, тогда сыми рубаху, пришью их, пока видно.

Григорий, крикнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила:

— Эти?

— Эти самые. Соблюла?

— Мы сундук зарывали, — продевая в угольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной, солоноватый запах пота...

— Чего это ты? — удивленно спросил Григорий.

— Тобой пахнет... — блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.

Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.

— Тебе с ними лучше! — сказала Наталья, с нескрываемым восхищением глядя на мужа.

Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул:

— Век бы их не видеть. Ничего-то ты не понимаешь!

Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем.

Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерять.

И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки, а потом тихо, стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил:

— Сем-ка я его свожу искупаю перед походом?

— Обойдется, — сказал Григорий, ежась от прудуренней сырости.

— Хорошо выспался? — осведомился старик.

— Дуже спал! Только вот словушки побудили. Беда, как они разорались всю ночь!

Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся:

— Им, парнишка, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам... Ни войны им, ни разору...

К воротам под'езжал Прохор. Был он свежевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сохе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаша его гладко выутюжена. На плечах новехонькие погоны.

— И ты погоники нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя. — Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватит! Я говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок приколбни, лишь бы ветром не сорвало, и хорошо!». А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать — умей и голову подставлять!». Видал, на чем они у меня зависли? Умора!

Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.

Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули не тронутые временем белые зубы:

— Вот это служивый! С стал-быть, чуть чего — и долой погоны?

— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.

Григорий, улыбаясь, сказал отцу:

— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не пропадешь!

— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич... Умри ты нынче, а я завтра, — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. — К фронту под'едем, там их и пришить можно.

Григорий наскоро позавтракал, — попрощался с родными.

— Храни тебя царица небесная! — иступленно зашептала Ильинична, целуя сына. — Ты ить у нас один остался...

— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню.

Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:

— Не пускай его! Не пускай, маманюшка! На войне убивают! Папанька, не езди туда!

У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:

— Не брешь, дура! И вовсе там не всех убивают!

Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но, когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, — с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания: градом покатались из глаз его слезы! Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди, крикнул:

— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтобы ты!..

Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час», — а вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную козынку.

Плыли,плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилось марево над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий, стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые купы верб, серебряную, прихотливо извивавшуюся ленту Дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на

юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, Дон, ветряк... Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле... Чорт с ней, с войной! Были бои по Чиру, прошли по Дону, а потом загремят по Хопру, по Медведеце, по Бузулуку. И — в конце-концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля? — думал он.

ГЛАВА IX

Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудийный гул слышал Григорий, выбравшись с летника на Гетманский шлях.

Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные двуколки и брички. За хутором Матвеевским в логу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальках передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве, густо лежали трупы бойцов в защитных рубахах и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, настигнутые и порубленные казачьей конницей.

Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшей на покоровившихся рубахах, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования.

Возле куста боярышника запрокинул ся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампы. Неподалеку валялась убитая лошадь светлогнедой масти, подседланная стареньким седлом с выкрашенным охрой ленчиком.

Кони Григория и Прохора приустиали. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной. Прохор под'ехал, было, к пруду с зачер-

ствеющей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно.

— Ты чего? — спросил Григорий.

— Под'езжай, глянь.

Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину.

Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотно зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые, блеклые тени, ползали суетливые муравьи.

— Какую красоту загубили, сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор.

С минуту он молчал, потом с ожесточением сплюнул:

— Я бы таких... таких умников к стенке становил! Поедем отсюда, ради бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается!

— Может, похороним ее? — спросил Григорий.

— Да мы что, подряд взяли всех мертвых хоронить? — возмутился Прохор. — В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу... Нам их всех ежели похоронять, так и музлей на руках нехватит! А могилку чем копать? Ее, брат, шашкой не выроешь, земля от жары на аршин заклекла.

Прохор так спешил, что насилу попал носком сапога в стремя.

Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил:

— А что, Пантелевич, не хватит кровицу-то наземь цедить?

— Почти-что.

— А как, по твоему разумению, скоро это прикончится?

— Как набьют нам, так и прикончится.

— Вот веселая жизнь заступила, да чорт ей рад! Хоть бы скорей набили, что ли. В германскую, бывало, самострел лапеч себе отобьет, и спущают его по чистой домой, а зараз хоть всю руку оторви себе, — все одно заставят служить. Косоруких в строй берут, хромых берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах тилипал. Да разве же так она, война, прикончится? Чорт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор и с'ехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпускать коню подпруги.

В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки, на вопрос Григория, сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба, напоследок сказал:

— Дюже они укрепились, Григорий Пантелевич, и, должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конечно, кто его знает... наших сил тоже достаточно. Гутарют, будто англицкие войска идут с Морозовской. Вы не слышали?

— Нет, — трогая коня, ответил Григорий.

В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой, оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма.

— Наконец-то и ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. — Заждались мы, брат, тебя!

Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель и фуражку, прошел к столу.

— Ну, и накурили! Не продыхнешь. Откройте же хучь одно окошко, что вы запечатались! — морщась, сказал он.

Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся:

— А мы приняхались и не чуем.

И, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню.

В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас.

— Вот это по-хозяйски! На что же ты стекло выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. — У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернило.

Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил:

— Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова: красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами, приблизительно, в четыре тысячи штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну, и позиции их, нельзя сказать чтобы были неприступные, но, во всяком случае, довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком шестая бригада Богатырева и наша первая дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный.

— К примеру, у меня в полку в третьей сотне только тридцать восемь казаков, — сказал командир 4-го полка подхорунжий Дударев.

— А было? — осведомился Ермаков.

— Было девяносто один.

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — хмурясь и барабая пальцами по столу, спросил Григорий.

— А черт их удержит! Растряслись по хуторам, на провед поехали. Но за-

раз подтягиваются. Ноне прибегли трое.

Копылов подвинул Григорию карту, — указывая мизинцем на месторасположение частей, продолжал:

— Мы еще не втянулись в наступление. У нас только второй полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно.

— Потери большие?

— По донесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными двадцать шесть человек. Так вот о соотношении сил: у нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты нехватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, четыреста снарядов и полтораста тысяч патронов. Но ведь это когда они придут, а наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались! Так вот, Фицхелауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на сто — сто пятьдесят сажен. Кстати, только-что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к шести утра на совещание для координации действий. Генерал Фицхелауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача, в общем, сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себряково. По той стороне Дона наши не очень-то активны... Четвертая дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы.

— Казаки болтают, будто союзники идут, верно это?

— Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос: как они эти танки будут через Дон переправлять? По-

моему, насчет танков — это брехня! Давно уж о них разговаривают...

В горнице надолго установилась тишина.

Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные, круглые, темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.

Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стучолку и с купцами по маленькой в преферанс, мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком; потом женился на молодой учительнице и так бы и жил в станице и наверняка дослужился бы до пенсии, но в великую войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной, низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за три года, проведенных на фронте; все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера, но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко ценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость.

До Копылова начальником штаба у Григория была безграмотный и неумный хорунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чиру, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо,

толково. Он так же добросовестно просиживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением учебных тетрадей, однако, в случае необходимости, по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой.

Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был, очевидно, польщен.

Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск, месяца на полтора...

Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал.

— Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брат Усть-Медведицу. За нас теперича генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхеллаурову, нехай нас, горемык, уму-разуму поучит... А в счет второго полка думаю так: пока наша власть — нынче же командира полка Дударева надобно разжаловать, лишить всех чинов-орденов...

— И порции каши, — вставил Ермаков.

— Нет, без шуток, — продолжал Григорий, — надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зараз же дуй, Ермаков, туда, прймай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает, и как бы не подсунул он казаков ишо раз под удар. Пеший бой — это дело такое... Тут нехитро людей в трату дать, ежели командир — бестолочь.

— Правильно. Я — за смену Дударева, — поддержал Копылов.

— Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова.

— Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя?

— Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михайло Григорич, приказ и ложись позарюю. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру четырех ординарцев.

Копылов удивленно поднял брови:

— Для чего их столько?

— Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем. — Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул знапашку шинель, пошел к выходу.

Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими киззяками и не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу — молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил:

— Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь-полночь, — ездай с пакетом, ни сна тебе, ни покою... Да стой же ты, чертяка! Ногу! Ногу, говорят тебе!..

А другой глуховатым, простуженным басом вполголоса пропел:

— «Надоела ты нам, службица, надоскучила. Добрых коников ты наших призамучила...» — И перешел на просящую, деловитую скороговорку: — Всыпь на цыгарочку, Прошка! А и жадоба ж ты! Забыл, как я тебе под Белавином красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя и на цыгарку не выблазнишь!

Звякнули и загрели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремль, земле. «Все об этом гутарют... Надоела ты нам, службица, надоскучила» — улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас

заснул. И как только заснул — увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне, идут цепи красноармейцев. Насколько видит глаз, протянулась передняя цепь. За ней еще шесть или семь цепей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся, быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес люди в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, видит: из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут; лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..». Он кричит изо всей силы, но голос его паразитически слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого, смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно-серьезное, бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегавшего врага, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие, широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но затвор не подается, его заело. Григорий в отчаянии бьет затвором о колено, — никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое, голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит сзади тяжелое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убыстрить бег не может. Требуется страш-

ное усилие, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного, мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот сзади нарастает, звучит. Горячее дыхание преследователя опалает шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли, на лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. «Фу, ты, чорт!..» — говорит он сипло, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только-что испытанное им — сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а потом уж убежать...». Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостное волнение от того, что все это — только скверный сон и в действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в переплетях!» — думает он, засыпая, и с наслаждением вытягивает затекшие ноги.

ГЛАВА X

На рассвете его разбудил Копылов: — Вставай, пора собираться, ехать! Приказано ведь быть к шести часам.

Начальник штаба только-что побрился, вычистил сапоги и надел помятый, но чистый френч. Он, как видно, спешил: пухлые щеки в двух местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то ранее не свойственная ему щеголеватая подтянутость.

Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал: «Ишь, как выщелкнулся! Не хочет к генералу явиться абы в чем!..».

Словно следя за ходом его мыслей, Копылов сказал:

— Неудобно являться неряхой. Советую и тебе привести себя в порядок.

— Продерет и так! — пробормотал Григорий, потягиваясь. — Так, говоришь, приказано быть к шести? Нам с тобой уж приказывать начинают?

Копылов, посмеиваясь, пожал плечами:

— Новое время — новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фицхелауров — генерал, не ему же к нам ехать.

— Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли, — сказал Григорий и пошел к колодезю умываться.

Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концом рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову:

— Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается... Туговаты они на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было!

— Это ты насчет чего? — рассеянно спросил Копылов, сдувая с рукава приставшую соринку.

— А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чувю! — Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарцы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий. — Да потому, что а для них белая ворона. У них — руки, а для меня — от старых музлей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все

целяюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я со трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина надела: щелоктно мне и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. — Григорий бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белел не тронутый загаром лоб. — Не хотят они понять того, что все старое рухнулось к едреной бабушке! — уже тише сказал Григорий. — Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я, или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр старой службы, — а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали офицерские полки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, засланный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал? А знаешь, кто его нагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогали?

— Помогали немало, — значительно ответил Копылов.

— Ну, может, Кудинову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слушаюсь.

— Так ты что же — науку в военном деле отрицаешь?

— Нет, я науки не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное.

— А что же, Пантелеевич?

— Дело, за какое в бой идешь.

— Ну, это уж другой разговор... — Копылов, настороженно улыбаясь, сказал: — Само собою разумеется... Идея в этом деле — главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Исти-

на эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобою открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не врожнул, чтобы итти куда-то и за что-то воевать. Все, кто с нами, — это люди, отстаивающие силой оружия свои старые привилегии, усмиряющие взбунтовавшийся народ. В числе этих усмирителей и мы с тобой. Но, я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять...

— Потом поймешь. Давай ехать, — бросил Григорий и направился к сараю.

Хозяйка, караулившая каждое движение Григория, желая угодить ему, предложила:

— Может, молочка бы выпили?

— Спасибо, мамаша, времени нету молёки распивать. Как-нибудь потом.

Проход Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил:

— Далеко поедешь? И мне с тобой?

Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал:

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузанный стоит? Кто должен коня мне подать? Прорва чорта! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чорта!

— И чего ты расходился? — обиженно бормотал Проход, угнездившись в седле. — Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и перекусить нельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то?

— А того, что ты с меня голову съешь, требуха свинья! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди!.. А то привык за панибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов сзади! — приказал Григорий, выезжая из ворот.

Проход и трое остальных ординарцев приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, продолжая начатый разговор, насмешливо спросил:

— Ну, так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?

Не замечая насмешки в тоне голоса и в форме вопроса, Копылов ответил:

— А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что! С одной стороны ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика.

— В чем это я — большевик? — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле.

— Я не говорю — большевик, а некое подобие большевика.

— Один чорт. В чем, спрашиваю?

— А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь? — добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: — Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду, как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например: вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи двух пальцев, во время еды руки вытираешь то о голенища сапог, то о волосы, после умывания не брезгуешь вытереть лицо лошадиной попонкой, ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. Или еще лучше: помнишь, зимой как-то в Каргиновской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали казаки, и в ее присутствии застегивал штаны...

— Стал-быть, было лучше, если б я штаны оставил расстегнутыми? — хмуро улыбаясь, спросил Григорий.

Лошади их шли шагом бок о бок, и Григорий искоса поглядывал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова.

— Не в этом дело! — досадливо морщась, воскликнул Копылов. — Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках, босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню! Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека... Как тебе сказать...

— Да уже говори как проще!

— Ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира — фатера, вместо эвакуироваться — экуироваться, вместо как будто — кубыть, вместо артиллерия — антилерия. И, как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимое пристрастие к звучным иностранным словам, употребляешь их к месту и не к месту, искажаешь невероятно, а когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из специфически военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением и, я бы даже сказал, — с завистью.

— Ну, уж это ты брешешь! — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Глядя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковисто-теплую кожу, он спросил: — Ну, валяй дальше, разделявай своего командира!

— Слушай, чего ж разделявать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты, просто,—пробка! — Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как неводержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки, но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился: Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожиданным был для Копылова результат его слов, так заразителем смех Григо-

рия, что он сам рассмеялся, говоря: — Вот видишь, другой, разумный, плакал бы от такого разноса, а ты ржешь... Ну, не чудак ли ты?

— Так, говоришь, стало быть, пробка я? И чорт с вами! — отсмеявшись, проговорил Григорий. — Не желаю учиться вашим обхождением и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А бог даст, — жив буду, — мне же с быками возиться и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый! Извините меня, рябый! Разрешите мне поправить на вас ярмо? Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать борозденного!». С ними надо покороче: цоб-цобэ, вот и вся бычина дислокация.

— Не дислокация, а дислокация! — поправил Копылов.

— Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласный.

— В чем это?

— В том, что я — пробка. Это я у вас — пробка, а вот, погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадитесь мне, приличные и образованные дармоеды! Души буду вынать прямо с потрохом, — полушутя-полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.

Утро над Обдоньем вставало в такой тонко выпряденной тишине, что каждый звук, даже нерезкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий роковитый шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно, глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромыхивали брички и хода обывательских подвод, подвозивших к линии фронта боеприпасы и снаряжение; возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондером, одобренным лавровым листом, и свежеспеченным хлебом.

Под самой Усть-Медведицкой трещала частая ружейная перестрелка, лениво

и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только-что начинался.

Генерал Фицхелауров завтракал, когда молодой, потасканного вида, адъютант доложил:

— Командир первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.

— Проси в мою комнату. — Фицхелауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, неспеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола.

Саженого роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися притолоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу.

Придерживая шашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета, искоса глянул на Копылова.

Фицхелауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым, низким басом заговорил:

— Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы... Повстанческая партизанщина кончилась! Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция! Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление, пора все это осознать и безоговорочно подчиниться приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей, так называемой, дивизии?

— Я, — негромко ответил Григорий.

— Потрудитесь ответить на вопрос!

— Я только вчера прибыл в дивизию.

— Где вы изволили быть?

— Заезжал домой.

— Командир дивизии во время боевых операций изволил гостить дома! В дивизии — бардак! Распушенность! Безобразия! — Генеральский бас все громче грохотал в тесной комнатухе; за дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты; щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побагровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость.

Фицхелауров с неожиданной легкостью вскочил, — ухватясь за спинку стула, кричал:

— У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд!.. Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить!.. Сапоги чистить! Слышите вы?!.. Почему не был выполнен приказ?! Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи и большевицких порядков мы не позволим заводить!.. Не позволим!..

— Я попрошу вас не орать на меня! — глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали?!.. — перегнувшись через стол, задыхаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий. — Вы вызвали нас для того, чтобы решать... — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шопота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем, — зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В шелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески похраптел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория: — Садитесь. Погорячились, и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части... Да садитесь же!..

Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице.

— ... Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова...

— Дивизию я туда не поведу, — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной натальной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил: — Дивизию туда не поведу.

— Это почему?

— Перегруппировка займет много времени...

— Это вас не касается. За исход операции отвечаю я.

— Нет, касается, и отвечаете не только вы...

— Вы отказываетесь выполнить мое приказание? — с видимым усилием сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров.

— Да.

— В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией! Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ...

— Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам.

— Как прикажете вас понимать?

— А так, как я сказал. — Григорий чуть заметно улыбнулся.

— Я вас отстраняю от командования! — Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал.

— Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство!

— А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?

— Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. А от вас мне все это даже удивительно слушать... Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я то-

же. И пока вы на меня не шумите... Вот как только переведут меня в сотенные командиры, — тогда пожалуйте. Но драться... — Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: — ... драться и тогда не дам!

Фицхелауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте, как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии, и, смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.

Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к двери. На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообщайте куда следует, но меня не пугайте, я не из полохливых.. И пока не трожьте меня. — Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали... — Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы.

На крыльце его догнал взволнованный Копылов.

— Ты с ума сошел, Пантелеевич! — шепнул он, в отчаянии сжимая руки.

— Коней! — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плеть.

Проход подлетел к крыльцу чортом.

Выехал за ворота, Григорий оглянулся: трое ординарцев, суется, помогали генералу Фицхелаурову взобраться на высоченного, подседланного нарядным седлом коня...

С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не выдержал:

— Чего молчишь? — резко спросил он. — Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку играл?

— Ну, брат, и номер же ты выкинул!

— А он не выкинул?

— Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен!

— Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, скажи, ему шило в зад воткнули!

— Однако и ты хорош! Неповиновение старшему по чину... в боевой обстановке, это, брат...

— Ничего не это! Вот жалко, что не намахнулся он на меня! Я б его потянул клинком через лоб, ажник черепок бы его хрустнул!

— Тебе и без этого добра не ждать, — с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. — По всему видно, что теперь они качнут дисциплину подтягивать, держись!

Лошади их, пофыркивая, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил:

— Ты из-за чего наряжался-то? Думал, небось, что тебя чаем угощать будут? К столу под белые руки поведут? Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил... Я видал, как ты утирку слюнявил да пятнышки на коленях счищал!

— Оставь, пожалуйста! — румянея, защищался Копылов.

— Зря пропали твои труды! — издевался Григорий. — Не токмо чаю, но и к руке тебя не подпустил.

— С тобой еще и не этого можно было ожидать, — скороговоркой пробормотал Копылов и, сощурился, изумленно-радостно воскликнул: — Смотри! Это — не наши. Союзники!

Навстречу им по узкому проулку шерстяная упряжка мулов везла английское орудие. Сбоку на рыжей куцехвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой переднего выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонями поручика.

Не доезжая нескольких сажен до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной ороже.

На щечках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом раз-

ехали, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы.

Один из артиллерийской прислуги, тоже русский офицер, судя по внешности, злобно оглядел Григория:

— Кажется, вы могли бы посторониться! Неужто и здесь надо оказывать свое невежество?

— Ты проезжай да молчи, сучье вымя, а то я тебе посторонюсь!.. — вполголоса посоветовал Григорий.

Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул:

— Господа! Задержите этого наглеца!

Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробирался по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, сплошь безусые, молодые офицерики, озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать. Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подехал к Григорию вплотную:

— Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка, ведешь себя!

— Ты что, ко мне воспитателем приставлен? — огрызнулся Григорий.

— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова, — пожимая плечами, говорил Копылов, — но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?

— Мне он тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился... ему бы его в другом месте носить... Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь?

— Ага! Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по моему, когда за горло берут — рад будешь любой помощи.

— Ну, ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил!

— Ты у красных китайцев видел?

— Ну?

— Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь.

— Это ты зря! Китайцы к красным добровольцами шли.

— А этих, по-твоему, силою сюда тянули?

Григорий не нашелся, что ответить, долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада:

— Вот вы, ученые люди, всегда так... Скидок наделаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею... Давай бросим об этом. Не путлай меня, я и без тебя запутанный!

Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один лишь снедаемый любопытством Прохор догнал, было, их, спросил:

— Григорий Пантелевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животная у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у ослов, а остальная справа — натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно... Что это за чорт, за порода, — объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили... — Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа, отстал и, когда поровнялись с ним остальные ординарцы, шопотом сообщил: — Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву даются и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется...

ГЛАВА XI

Казачьи сотни четвертый раз вставали из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накоплавшиеся в ярах резервы.

Молочно-белые тающие облачка шрапнели вспыхивали над обдонскими высотами. Впереди и сзади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурю пыли.

К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы.

Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, не-

смотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложились; окопываясь, и опять бросками передвигались к новому рубежу; а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла подняться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным.

Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешился возле батареи конюшани, — тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя.

— Не могу поднять казаков! Не встают! — еще издали закричал он, размахивая руками. — У нас уж двадцати трех человек как не было! Видал, как красивые пулеметами режут?

— Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь? — сквозь зубы процедил Григорий.

— Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по ноздри, а мы с чем?!

— Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову сымем!

Ермаков матерно выругался, сбежал с кургана. Следом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку 2-й пехотный полк.

Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи:

— Полюбуйся, Григорий Пантелевич, на английскую работу. Сейчас они начнут по мосту бить. Давай подыдемся на курганик?

В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней непрерывным потоком катились подводы.

Минут через десять английская батарея, расположившаяся за каменистой грядой в долине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей.

Тотчас же от правого берега отвалили четыре баркаса с саперами. Но не успели они заделать разрушенный настил на мосту, как английская батарея

снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил вездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось.

— А и точно же бьют сукины сыны! — с восхищением сказал командир батареи. — Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу!

Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил:

— Ну, а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда.

— И рад бы, да ни одного снаряда нету! С полчаса назад кинул последний и заговорел.

— Так чего же ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чертовой матери!

— Послал к кадетам за снарядами.

— Не дадут, — решительно сказал Григорий.

— Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело — двадцать три души наших побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!..

Григорий перевел взгляд на казачьи окопы: возле них на косогоре пули по-прежнему рыли сухую землю. Там, где жеглась пулеметная очередь, возникла полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымилась, заштрихованная пылью.

Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова:

— Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем.

— А я тебе не это говорил? — укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня.

Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его чорт понес напрямки? Скосят пулеметом! Спустился бы в лошину, по текине поднялся вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лошины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял! Теперь доберется» — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, неспеша свернул папироску.

Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую. И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось... Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю ничтожность происходившего. Разговор ли с Копыловым или стычка с Фицхеларовым, а может быть, то и другое, вместе взятые, были причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог с ними примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхеларовых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам, — он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!» — думал он и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдания красным: «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жало-

ванье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалованье? Какого чорта на него можно купить? Разве что в карты проиграть... Стало быть, тут корысти нету, что-то другое... А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов, и то прислали! Потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница! Ну, да мы об этом еще вечером поспорим! Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: «А разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочь!».

Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом два часа спустя...

Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхеларова.

ГЛАВА XII

Дня через три после отъезда Григория в хутор Татарский явился Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Маньча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал «ходей», а распопинского пропойцу и бестию величал Силантием Петровичем.

Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжие и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении, за Донцом; легкий защитный френч так и распирали широченные митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади... Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять священную особу его импе-

раторского величества, если б не эта окающая революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества... А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам водил на распыл заподозренных в большевизме, не брезговал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, говорил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!». И еще одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпустить живым из рук, — его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пятидесяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не слушавшая, уверенно заворачивали в рогожу... Из-под митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, побитых мною, посыпать штаны да юбки, — весь хутор Татарский одел бы!».

Жестокость, свойственная митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд подонками офицерства, — с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентными мерзавцами, — Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал все то, чему они его в своей ненависти к красным учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастеник-офицер не выдерживал, — Митька только щурил свои желтые,

мелкой искрой крапленые глаза и дело доводил до конца.

Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба — в карательный отряд войскового старшины Прянишникова.

Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему поместью. Возле полуобгоревших, задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку, — широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый Силантием, молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара, отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом:

— Сожгли... А курень был богатый! Первый в хуторе. Наш хуторной сжег, Мишка Кошевой. Он же и деда убил. Так-то, Силантий Петров, пришлось проотведать родимую пепелищу...

— А с этих Кошевых есть кто дома? — с живостью спросил тот.

— Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними... А зараз поедем к нашим сватам.

По дороге к Мелеховым Митька спросил у встретившейся снохи Богатыревых:

— Мамаша моя вернулась из-за Ду-ну?

— Кубыть не вернулась ишо, Митрий Мироныч.

— А сват Мелехов дома?

— Старик-то?

— Да.

— Старик дома, словом — вся семья дома, опричь Григория. Петра-то убили зимой, слышал?

Митька кивнул головой и тронул коня рысью.

Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к мелеховскому базу и ни к кому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал:

— Так-то встречает родимый хутор! Пообедать, и то надо к родне ехать... Ну-ну, ишо потягаемся!..

Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам.

— Милости просим, — радушно сказал он, открывая калитку. — Гостям рады! С прибытием!

— Здравствуй, сват! Живой-здоровый?

— Слава богу, покуда ничего. Да ты никак уж в офицерах ходишь?

— А ты думал, одним твоим сыном белые погоны носить? — самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку.

— Мои до них не дюже охочи были, — с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей.

Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, осталась ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию.

Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил:

— Долго думаешь прогостить в хуторе?

— Да так, дня два-три.

— Матерю-то повидаетшь?

— А это как придется.

— Ну, а зараз далеко от'езжаешь?

— Так... Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем.

Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатила молва: «Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали!».

Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только-что пришел из кузницы с косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку, но его позвала Ильинична:

— Поди-ка сюда, Прокофьич! Да попроворней!

В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату.

Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на аникушкину жену, глухо спросила:

— Слышал новость, старик?

«Ох, с Григорием что-то... Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он побледнел и, в страхе и ярости оттого, что никто ничего не говорит, крикнул:

— Скорей выкладывайте, будь вы прокляты!.. Ну, что случилось? С Григорием?.. — И, словно обессилевший от крика, опустился на лавку, поглаживая трясущиеся ноги.

Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала:

— Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил.

— Как, то-есть, побил? — У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и, еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: — Кошевых? Митрий?

Аникушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать:

— Ходила я, дяденька, телка искать, и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним ишо двое служивых подехали к базу и пошли в дома. Я и думаю: телок дальше ветряка не уйдет, очередь пасть телят была...

— Да на чорта мне твой телок! — гневно прервал Пантелея Прокофьевич.

— ... И пошли они в дома, — заклебываясь, продолжала баба, — а я стою, жду. «Не с добром, — думаю, — они сюда приехали». И начался там крик, и слышно — бьют. Испугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу — топчут сзади; оглянулась, а это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости господи! Подтянул ее к сараю, она, сердешная, и голосу не отдает, должно, уж без памяти была; калмык, какой с ним был, сигнул на переруб... Гляжу —

Митрий конец оборки ему кинул и шумит: «Подтяни и завязывай узлом!». Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а посла вскочили на коней и поехали по проулку, должно, к правлению. В хату-то я побоялась иттить... А видала, как из сенцев, прямо из-под дверей, кровь на приступки текла. Не дай и не приведи, господи, ишо раз такую страсть видать!

— Хороших гостей нам бог послал! — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична.

Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени.

Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич пророчно захромал им навстречу.

— Пстой-ка! — крикнул он еще издали. — Не вводи коней на баз!

— Что такое, сваток? — удивленно спросил Митька.

— Поворачивай обратно! — Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие митькины глаза, твердо сказал: — Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше по-добру уезжай, куда знаешь.

— А-а-а... — понимающе протянул Митька и поблел. — Выгоняешь, стало быть?..

— Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик. — И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!

— Понятно! Только больно уж ты жалостлив, сваток!

— Ну, уж ты, должно, милосердия не поимеешь, коли баб да детишков начал казнить! Ох, Митрий, нежнее у тебя рукомесло... Не возрадовался бы твой покойный отец, гляючи на тебя!

— А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христовался? Иди ты — знаешь куда?.. — Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку.

— Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны гожд. И делить нам с тобой нечего, езжай с богом!

Все больше и больше бледнея, грозя плетью, Митька глухо покрикивал:

— Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивца... Знаю вас! Вижу наскрозь, каким вы духом дышите! За Донец в отступ не пошли? Красным передались? То-то!.. Всех бы вас надо, сукиных сынов, как Кошевых перевести! Поехали, ребята! Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне! Из моей горсти не высигнешь! А хлеб-соль твою я тебе помню! Я такую родню тоже намахивал!..

Пантелей Прокофьевич дрожащими руками залер калитку на засов, похромал в дом.

— Выгнал твоего брата, — сказал он, не глядя на Наталью.

Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком свекора, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала:

— И слава богу: унесла нелегкая! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел: нет, чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он — вишь! — поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казацкое дело — казнителем быть, старух вешать да детишков безвинных пашками рубить?! Да разве они за Мишку своего ответчики? Этак и нас с тобой, и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поимели милость? Нет, оборони, господь, я с этим несогласная!

— Я за брата и не стою, маманя... — только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы.

Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении верхнедонского восстания.

После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых; хатенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долго еще ребятишки боялись играть около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо выморочной хатенки, крестились и поминали за упокой души убиенных.

Потом наступил степной покос, и недавние события забылись.

Хутор попрежнему жил в работе и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уцелел рабочий скот, крихтели и поругивались, поставляя обывательские подводки. Почти каждый день приходилось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, не один раз недоброе слово поминали старики затаившуюся войну. Но снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту. И везли. А тут, как назло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспешую, нарядность кормовистую траву.

Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней и слуха не было; без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.

По сути — не надо бы посылать Дарью... Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но, кроме нее, никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что — не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны? А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше с большим удовольствием ездила всюду: на мельницу ли,

на просорашку или еще по какой-либо хозяйской надобности, и все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровьиного призора, она могла и с бабами досыта посудачить и — как она говаривала — «на-ходу любовь покрутить» с каким-нибудь пригланувшимся ей расторопным казачком. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому.

Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда, но делать было нечего, — снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокойстве. «Луснули мои бычки!» — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая.

Дарья приехала на одиннадцатые сутки утром. Пантелей Прокофьевич только-что вернулся с поля. Он косил в супряге с аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за водой и харчами. Старики и Наталья завтракали, когда мимо окон со знакомым перестуком загремели колеса брички. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводившую усталых, исхудавших быков.

— Она, что ли? — спросил старик, давась непрожеванным куском.

— Дарья!

— Не чаял и увидеть быков! Ну, слава тебе господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то прибилась к базу... — забормотал старик, крестясь и сыгто рыгая.

Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога вчетверо сложенное рядно, поздоровалась с домашними.

— А то чего ж, милая моя! Ты бы ишо неделю ездила! — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, исподлобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие.

— Ехали бы сами! — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок.

— Чего ж так долго ездил? — вступила в разговор Ильинична, чтобы сгладить неприязненность встречи.

— Не пускали, того и долго.

Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой, спросил:

— Христонину бабу с перевалочного пустили, а тебя нет?

— А меня не пустили! — Дарья зло сверкнула глазами, добавила: — Ежли не верите — поезжайте, спросите у начальника, какой обоз сопровождал.

— Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посиди дома. Тебя только за смертью посылать.

— Загрозили вы мне! Ох, загрозили! Да я и сама не поеду! Посылать будете — и не поеду!

— Быки-то здоровые? — уже мирнее спросил старик.

— Здоровые. Ничего вашим быкам не поделалось... — Дарья отвечала нехотя и была мрачнее ночи.

«Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая» — подумала Наталья.

Она всегда относилась к Дарье и к ее нечистоплотным любовным увлечениям с чувством сожаления и брезгливости.

После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман.

— Сказал бы — в час добрый, да погоди, Пантелей Прокофич, не выезжай.

— Уж не сызнава ли за подводой прибеж? — с деланным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило.

— Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин, понял? Зараз получил с нарочным бумажку от станичного атамана, приказывает стариков и баб всех до одного собрать на сходку.

— Да они в уме! — вскричал Пантелей Прокофьевич. — Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает?

А сена мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?!

— Он одинаково и твой такой же, как и мой, — спокойно ответил атаман. — Мне что приказано — то и делаю. Распрягай! Надо хлебом-солью встречать. Гутарют, промежду прочим, будто с ним союзников генералы едут.

Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распрягать быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил:

— Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться?

— Чего тебе ей делать?

— Приказано, еж их наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, тарантасы, брать и лошадей — ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять рубаха взмокла, — и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хучь криком кричи.

Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылу и даже свой рессорный тарантасишко предложил. Как-никак, а ехал командующий армией, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трешетного уважения...

Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к Дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирался народ. Многие, бросив покос, спешили со степи в хутор.

Пантелей Прокофьевич, махнув рукой на работу, принарядился, надел чистую рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием в подарок, и степенно похромал на майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Дуняшке.

Вскоре густая пыль взвихрилась на шляху и потоком устремила к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издали донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух новехоньких блещущих темносиней краской автомобилях; где-то далеко сзади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки, и уныло

повзанивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, послышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим надлежало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него:

— Выручай ради Христа! Человек ты бывалый, знаешь обхождение... Уж ты знаешь, как с ними и ручкаться и все такое... Да ты же и член Круга, и сын у тебя такой... Пожалуйста, бери хлеб-соль, а то я, вроде, робею и дроожание у меня в коленях.

Пантелей Прокофьевич — донельзя польщенный честью — отказывался, соблюдая приличия, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью; расталкивая локтями толпу, вышел вперед.

Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак.

— Ты... как? Не робеешь? — шопотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал оспешным от волнения голосом:

— На, поддержи, пока я бороду причешу. Бери же!

Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разгладил усы и бороду, молодецки расправил грудь и, опираясь на кончики пальцев искалеченной ноги, чтобы не видно было его хромоты, снова взял блюдо. Но оно так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился:

— Не уронишь? Ох, гляди!

Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. Это он-то уронит? Может же человек сказать такую глупость! Он, который был членом Круга и во дворце наказного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается какого-то генерала? Эгот не-

счастный атаманишка окончательно спятил с ума!

— Я, братец, ты мой, когда был на Войсковом кругу, так я с самим наказным атаманом чай внакладку... — начал было Пантелей Прокофьевич и умолк.

Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонями на френче ловко вскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот, как стал навытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли сзади и были по виду наряднее, — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же всякие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Чорт возьми, если б он знал, что явятся этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось: минуто назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребяташки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хромой Мелехов наконился! Будто ерша проглотил!». Было бы из-за чего переносить насмешки и утрудить больную ногу, вытянувшись в струну... Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот

проклятый трус атаманишка! Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотру: иной идет — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется — икона, а не генерал! А эти — все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи... Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплунул от отвращения, но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал:

— Иди же, подноси!

Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло оглядел толпу, звучно произнес:

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — взвробод загомонили хуторяне.

Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту.

Стоявший рядом с Сидориным высокий, поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах.

Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы — прежде

всего! — и он внимательно вслушивался в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский язык; скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурый казак-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукою на грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом, и можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев...

Полковник был истинным патриотом и немного знал историю: рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется итти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят, — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...

Внимание полковника привлекли громко перешептывавшиеся бабы. Он, не поворачивая головы, оглядел их скуластые обветренные лица, и твердо сжатые губы его тронула чуть приметная презрительная усмешка.

Пантелей Прокофьевич, вручив хлеб-соль, замешался в толпе. Он не стал слушать, как от имени казачьего населения станицы Вешенской приветствовал приехавших какой-то вешенский краснойбай, а, околесив толпу, направился к стоявшим поодаль тройкам.

Лошади были все в мыле и тяжело носили боками. Старик подошел к своей впряженной в корень кобылке, рукавом

протер ей ноздри, вздохнул. Ему хотелось выругаться, тут же выпрячь кобылу и увести ее домой, — так велико было его разочарование.

В это время генерал Сидорин держал к татарцам речь. Одобрительно отозвавшись об их боевых действиях в тылу у красных, он сказал:

— Вы мужественно сражались с нашими общими врагами. Ваши заслуги не будут забыты родиной, постепенно освобождающейся от большевиков, от их страшного ига. Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора, которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек, фамилии которых будут сейчас оглашены!

Один из офицеров прочитал короткий список. Первой в нем значилась Дарья Мелехова, остальные были вдовы казаков, убитых в начале восстания, участвовавшие, как и Дарья, в расправе над пленными коммунистами, пригнанными в Татарский после сдачи Сердобского полка.

Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на-ходу поправляя белый, с кружевной каемкой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резко оттеняли жаркий блеск прищуренных, ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала: «Пропустите женихову родню!». И подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке, — неумело дей-

ствуя пальцами, приколот ее к дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.

— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие... Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков... А генералик ничего из себя, подходящий» — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто, отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно идти? — спросила Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, — направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры.

К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамяля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколата медаль, Шамяля вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу

утратили веселое выражение и стали серьезными, сочувственно-кислыми.

— Ваш муж тоже убит? — нахмурясь, спросил Сидорин.

Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой.

— У нее детей на воз не покладешь! — басом сказал кто-то из казаков.

Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал:

— Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из награжденных мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара коммуниста.

Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал:

— Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Скажите, генерал, они участвовали в боях наравне с мужчинами?

— Да, — коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову.

Вскоре после вручения наград гости отбыли в станицу. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покос, и через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков.

— Диковинные времена заступили! — сказал один из них и широко развел руками. — Бывалоча, на войне егорьевский крест али медаль давали за большии-и-е дела, за геройство, да кому давали-то? Самым ухацам, отчаюгам! Добывать кресты не дюже много риска-телей находилось. Не даром сложили поговорку: «Иль домой с крестом, иль лежать пластом». А нынче медали бабам понавешали... Да хучь бы было за что, а то так... Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных,

обезруженных людей. Какая ж тут геройства? Не пойму, накажи господь!

Другой старик, подслеповатый и немогущий, отставил ногу, неспеша достал из кармана свернутый в трубку матерчатый кисет, сказал:

— Им, начальству, виднее из Черкасскова. Стало быть, там рассудили так: надо и бабам приманку сделать, чтоб духом все поднялись, чтобы дюжей воевали. Тут медаль, а тут по пяти-сот деньгами, — какая баба супротив такой чести устоит? Иной из казаков и не схотел бы выступать на фронт, думал бы прихорониться от войны, да разве зараз сможет он усидеть? Ему баба все уши прожужжит! Ночная кукушка, она всегда перекукует! И каждая будет думать: «Может, и мне медаль навесют?».

— Это ты зря так говоришь, кум Федор! — возразил третий. — Следовало наградить, вот и наградили. Бабы повдовели, им деньги будут большой подмогой по хозяйству, а медали им за лихость пожалованы. Дашка Мелеховых первая суд навела Котлярову, и правильно! Господь им всем судья, но и баб нельзя винить: своя-то кровь резко гутарит...

Старики спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили к вечерне. А как только звонарь ударил в колокол — все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.

ГЛАВА XIII

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд-рядом, сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменялось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей

выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму; и внешне стала как-то замкнутей, отчужденней; редко-редко слышался теперь беззаботный дунышкин смех.

После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалась от стариков; с детшками проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело.

Про Дарью и говорить было нечего: совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекору, на Ильиничну и внимания не обращала, безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделялась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в мелеховском доме последние дни.

Семья распалась на глазах у Пантелей Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения... За общий стол садились не так, как прежде — единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди.

Война была всему этому причиной, Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дунышка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого — единственного, кого она любила со всей беззаветной девичьей страстью; Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью переживала новый отход Григория к Аксинье. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, ко-

ли этот чортов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой, — будь что будет!

Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль.

— За что это тебе? — удивилась Наталья.

— Это за кума Ивана Алексеича, царство ему небесное, сукину сыну! А это — за Петю... — И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток.

В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась:

— Отвяжитесь, батенка, я уморилась с дороги!

Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказала:

— В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поля. Мне нынче праздник!

— Отвезу и сам, — согласился старик. — Ну, а деньги как?

— Что — деньги? — Дарья удивленно приподняла брови.

— Деньги, спрашиваю, куда денешь?

— А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену!

— То-есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?

— Выдали их мне, и вам ими не распоряжаться.

— Да ты семьянинка или кто?

— А вы чего от этой семьянинки хотите, батенка? Деньги себе забрать?

— Не к тому, что все забрать, но Петро-то сын нам был или кто, потвоему? Мы-то со старухой должны быть в части?

Притязания свекора были явно неуверенны, и Дарья решительно взяла геревес. Издевательски-спокойно она сказала:

— Ничего я вам не дам, даже рубля не дам! Вашей части тут нету, ее бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть? Об этом и разговору не было, и вы за моими хоть не тянитесь, не получите!

Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку:

— Ты в семье живешь, наш хлеб ешь, значит — и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый зачнет поврозь свое хозяйство заводить? Я этого не дозволю! — сказал он.

Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила:

— Я с вами, батенка, не венченная, ныне у вас живу, а завтра замуж выйду, и только вы меня и выдали! А за прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью десять лет работала, спину не разгинала!

— Ты на себя работала, сука поблудная! — возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала, повернулась перед самым его носом, взмахнув подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал!» — шептала она, насмешливо улыбаясь.

На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступать свое, убоявшись стариковского гнева.

Пантелей Прокофьевич собрался ехать

в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной.

— Ты за Дарьей поглядывай... — попросил он.

— А чего за ней глядеть? — удивилась Ильинична.

— Того, что она сорвется и уйдет из дому и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста она крылья распускает... Видать, прискакала себе в пару и не нынче-завтра выскочит замуж.

— Должно быть, так, — со вздохом согласилась Ильинична. — Живет она, как хохол на отживе, ничего ей не мило, все не по ней... Она зараз — отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, — не прилепишь.

— Нам ее и прилепливать не к чему! Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет с двора. Мне уж надоело с ней возжаться! — Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу; погоняя быков, закончил: — Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норovit сладкий кусок сожрать да увезеться на игрища. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая!

Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она не думала, иная у нее на сердце была забота...

Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль, раз пять переодевалась, примеряя, к какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила: «Мне бы теперича ишо крестов нахватать!», потом отозвала Ильиничну в горенку, сунула ей в рукав две бумажки по двадцать рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильиничны, зашептала: «Это — Петю поминать... Закажите, мамаша, вселенскую панихиду, кутьи наварите...» — И запла-

кала... Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с Мишаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез.

Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чуделом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом, лукаво, заговорщически подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков.

Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила:

— Дарьюшка! Милая! Не брешни, ради Христа! А то я уж и не пойму, где ты врешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай сурезно.

— Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка! Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и предоставят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь! Вот как я ими буду командовать! — Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом scomандовала: «Старики, смирно! Бороды поднять выше! Кругом налево ша-а-гай!».

Дуняшка не выдержала и пырскнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала:

— Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!

— Так уж и не перед добром! Да вы его, добра-то, видите? Вас ежли не расчудить, так вы тут от тоски заплещете!

Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в бокоушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль; подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

Дня четыре после этого она прилежно работала в поле.

Покос шел невесело. Нехватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в валках намочил дождь, прибавилось работы: пришлось валки растрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копны — снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось ведро, подул восточный ветер, в степи снова застрекотали косилки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром, и сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синеющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами.

На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась итти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать.

Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил:

— Чего это тебе приспичило? До воскресенья не можешь подождать?

— Стало быть, дело есть и ждать некогда.

— Так-таки и дня подождать нельзя?

Дарья сквозь зубы ответила:

— Нет!

— Ну, уж раз так гребтится, что и трюшки потерпеть нельзя, — иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?

— Все будете знать — раньше времени помрете.

Дарья, как и всегда, за словом в карман не лезла, и Пантелей Про-

кофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспросы.

На другой день по дороге из станицы Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови:

— А Наталья где же, мамаша?

— Она на огороде, картошку полет. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал? Нехай он с ума не сходит! Так ему и скажи!

— Никто за ней не присылал, я сама хотела кое-что ей сказать.

— Ты пеши пришла?

— Пеши.

— Скоро управятся наши?

— Должно, завтра.

— Да погоди, куда ты летишь? Сено-то дюже дожди попортили? — назойливо выспрашивала старуха, идя следом за сходящей с крыльца Дарьей.

— Нет, не дюже. Ну, я пойду, а то некогда...

— С огорода зайди, рубаху старику возьми, слышишь?

Дарья сделала вид, будто не слышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, — прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам.

Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво напоззала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны.

Дарья сняла с натруженных ног чирки, вымыла ноги и долго сидела на берегу, на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватяющего за сердце крика чаек, и еще тяжелей и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее...

Наталья с трудом разогнула спину, прислонилась к плетню мотыгу и, увидев Дарью, пошла к ней навстречу:

— Ты за мной, Даша?

— К тебе со своим горюшком...

Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с дарьиным лицом за эти дни: щеки осунулись и потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск.

— Что это с тобой? Ты ажник с лица почернела, — участливо спросила Наталья.

— Небось, почернеешь... — Дарья насильственно улынулась, помолчала. — Много тебе ишо полоть?

— К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось?

Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила:

— А вот что: захворала я... У меня — дурная болезнь... Вот как ездила в этот раз, и зацепила... Наделил проклятый офицеришка!

— Догулялась!.. — Наталья испуганно и горестно всплеснула руками.

— Догулялась... И сказать нечего, и жаловаться не на кого... Слабость моя... Подсыпался проклятый, улестил. Зубы белые, а сам оказался червивый... Вот я и пропала теперь.

— Головушка горькая! Ну, как же это? Как же ты теперь? — Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала:

— Видишь, я ишо в дороге за собой стала примечать... Думаю спервоначалу: может, это так что... У нас, сама знаешь, по бабьему делу бывает всякое. Я вон весной подняла с земли чувал с пшеницей, и три недели месячные шли. Ну, а тут вижу, чтой-то не так... Знаки появились... Вчера ходила в станицу к фершалу. Было со стыда пропала... Зараз уж все, отыгралась бабочка!

— Лечиться надо, да ить страмы сколько! Их, эти болезни, говорят, залечивают.

— Нет, девка, мою не вылечишь. — Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла польшущие огнем глаза. — У меня — сифилис. Это от какого не лечивают. От какого носы проваливаются... Вон, как у бабки Андроники, видала?

— Как же ты теперь? — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.

Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям распух крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала:

— Как я буду, спрашиваешь? Я шла из станицы — думала, прикидывала... Руки на себя наложу, вот как буду! Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежели мне лечиться — все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться... Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохну вся, живьем буду гнить... Нет, не хочу! — Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. — Я думала, как ишо в станицу не ходила, ежели это у меня дурная болезнь — буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала — они мне пригодятся фершалам платить... А зараз иначе решила. И надоело мне все! Не хочу!

Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони повисшую на длинных ресницах слезинку.

— Какие ты речи ведешь... Бога

побоялась бы! — тихо сказала Наталья.

— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизнь мешал. — Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. — Того нельзя было делать, этого нельзя, всё грехами да страшным судом пужали... Страшнее этого суда, какой я над собою сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! Люди все попоостытели... Мне легко будет с собой расквитаться. У меня — ни сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого... Так-то!

Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве, но Дарья, рассеяннo слушавшая вначале, опомнилась и гневно прервала ее на полуслове:

— Ты это брось, Наташка! Я не затем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала! Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с нынешнего дня ребят своих не подпускала. Болезня моя прилипчивая, фершал сказал, да я и сама про нее слыхала, и как бы они от меня не заразились, поняла, глупая? И старухе ты скажи, у меня совести нехватает. А я... я не сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется... Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы, знаешь, как? Пока под сердце не кольнет — ходим и округ себя ничего не видим... Я вон какую жизнь прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубыгь глаза открылись! Гляжу на Дон, а по нему зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам глядеть на него больно. Повернусь кругом, гляну, — господи, красота-то какая! А я ее и не примечала... — Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос его стал еще выше и напряженнее: — Я уж за дорогу и отрevelа разов несколько... Подошла к хутору, гляжу — ребятишки махонькие купаются в Дону... Ну, по-

глядела на них, сердце зашлось, и разревелась, как дура. Часа два лежала на песке. Оно и мне нелегко, ежели подумать... — Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове. — Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидеться с Петром... «Ну, скажу, дружечка мой, Петро Пантелевич, принимай свою непутезую жену!».—И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете нельзя, драчливых в рай не пускают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не

забудь свекрухе сказать про мою беду.

Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в расщепках сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверей, потом вернулась, деловито сказала:

— С nonешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да, ишо вот что: пуцай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!

(Продолжение следует.)

общества; в этом характере отражаются те бедствия и то горе, на которые обрекают массы господствующие классы.

Народы Советского Союза живут в счастливых условиях социалистического общества, с его заботой о человеке, с непрерывно растущим благосостоянием масс, с его наиболее последовательным демократизмом. Эта счастливая жизнь, дающая каждому советскому гражданину право на труд, отдых, образование, уничтожающая даже воспоминания о таких мрачных явлениях, как безработица, обнищание крестьянства, неуверенность в завтрашнем дне, закреплена великой Сталинской Конституцией.

Наша литература, в которой радостная жизнь народов Советского Союза уже отражена в ряде романов, поэм, песен и других произведений искусства, должна с еще большей глубиной и широтой воплотить счастливую жизнь советской страны под сенью Сталинской Конституции.

Подводя итоги достижениям советской литературы за двадцать лет, отмечая значительность этих достижений, мы твердо уверены в том, что советские писатели завоюют высоты социалистического искусства и дадут миру великие произведения, представляющие новый, огромный шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редколлегия: Л. М. Леонов,
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»